



А. Ф. Писемский
БОГАТЫЙ ЖЕНИХ

А.Ф. Писемский

БОГАТЫЙ ЖЕНИХ

Роман в двух частях

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1955

*Текст печатается по изданию:
Сочинения А. Ф. Писемского,
в четырех томах,
СПБ. 1861—1867 гг., т. II*

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Редактор *В. Титова*. Художник *Н. Кузьмин*. Худож. редактор *К. Буров*.
Технический редактор *А. Трошчн*. Корректор *Н. Мялик*.

Сдано в набор 17/III 1955 г. Подп. к печати 5/VII 1955 г. А03452.
Бумага 84 × 108¹/₂—13 печ. л. = 10,66 усл. печ. л. 11,2 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 экз. Заказ 261. Цена 2 р. 25 к.

Гослитгиздат, Москва, Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической
промышленности.

4-я тип им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

День был сентябрьский. По небу неслись мутного цвета облака, по временам накрапывал дождик, с северо-запада дул влажный ветер. По главной и почти единственной улице уездного города К. тащились две клячи. Передняя была запряжена в тяжело навьюченную телегу; ею правил малорослый мужичонко в лаптях, в рубахе и в теплой шапке; сзади его, из-за мешков, торчала женская голова, обвязанная платком, — голова эта дремала. Другая лошадь везла какие-то допотопные дрожки, впродоль которых лежал кучер с усами, в сером кафтане и с ног до головы перепачканный в грязи. Перед воротами старого деревянного домишка поезд остановился. Мужик слез, ушел в калитку и начал возиться с воротами. Одно окно в доме было отворено; из него струями появлялся табачный дым. По деревянному тротуару плелась мещанка старуха. Проходя мимо дрожек, она заглянула кучеру в лицо, поклонилась ему и проговорила:

— Здорово, голубчик!

Тот молча кивнул головой.

— Господский, что ли?

— Господский.

— А чьи такие?

— Из Дементьева.

— К Кузьминишне, знать, пристали?

— Ну, да.

— С господами?

— К барину, с запасом.

— Так-с!.. Прощай, голубчик! — заключила старуха и поплелась далее.

У открытого окна она остановилась, взглянула в него и потупилась.

— Ай, светы мои, какой румяный! точно красный ставец, рожато!.. Дементьевские... а забыла уж чьи такие,— говорила она сама с собой, идя далее.

На повороте улицы встретила её другая мещанка, помоложе.

— Здорово, Матренушка! что, мати, есть ли кто на постое? — спросила старуха.

— Нетути, тетенька, совсем нынче нетути: большак-то запил у меня, так уж не до того, — отвечала та каким-то необыкновенно звонким и тонким голосом.

— Известно, мати, где уж... к Кузьминишне так из Дементьева пристали. Прости, голубушка.

— Прощай, тетенька!

Они разошлись. Проходя мимо окна, мещанка помоложе также поклонилась и, заглянувши в него, проговорила потихоньку:

— Экой пес красный сидит!

Между тем телега въехала на двор, кучер слез и, неизвестно за что ударивши свою лошадь по морде, подошел к телеге.

— Нуте-ка вы, сони, просыпайтесь, — сказал он, толкнув в плечо дремавшую женщину.

— Что больно толкаешься! — проговорила та, взмахнув глазами.

— Толкаешься! Не видишь, что приехали? Вылезай: под ручку, что ли, прикажете принять?

— Нуте! — говорила женщина, вылезая из телеги. — Ой, тошнехонько: все ноженьки отсидела.

Босоногий мальчишка, в домотканном чепане, созерцавший бессмысленными серыми глазами всю эту сцену с крыльца, вдруг кубарем слетел с лестницы, подбежал к женщине, обнял ее и поцеловал.

— Здорово, Аркадьюшка! Батяка тебе кланяется.

— Валенки, мамонька, привезла?

— Забыла, батюшка, из ума вон, забыла!

— Эка какая бестолковая!.. Машка уж износит их у меня.

— Что делать-то, родной, забыла...

Но заглянем лучше во внутренность дома. Если читатель бывал в уездных городах, то, вероятно, знает устройство мещанских домишек. Они состоят главным образом из сеней, которые ведут с одной стороны в избу, а с другой — в две-три комнаты. В этих двух-трех комнатах бывает обыкновенно две-три печи и по крайней мере десятка полтора окон. Домишко Кузьминишны был точно такого же устройства. В двух ее комнатах квартировал, в настоящее время, молодой помещик из Дементьева: Степан Гарасимыч Сальников. В обществе, впрочем, он был более известен под именем Степочки, так как этим именем называла его маменька, несмотря на тридцатилетний возраст, до которого уже достигнул молодой человек. В большой комнате, в которой он сидел под окном и курил, пол был совершенно покривлен, кое-где стояла кожаная мебель, на стене висели небольшое зеркало и целая коллекция картинок, изображающих печальную историю Женевьевы Брабантской¹. Здесь я нужным считаю заметить, что у Кузьминишны никто из помещиков не останавливался, потому что домишко ее был уже совершенно стар и холоден и в такой мере изобиловал мышами и клопами, что эти неприятные твари, кажется, были в состоянии совершенно заесть человека, а сверх того и сама хозяйка была пренесноснейшего характера женщина и пила запоем. Одно удобство этой квартиры — была необыкновенная ее дешевизна: два с половиной ассигнациями в неделю. Что же касается до наружности Степана Гарасимыча, то он весьма справедливо вызвал со стороны мещанок вышеозначенные замечания, потому что действительно был очень красен с лица. По выпущенным воротничкам домотканной рубашки из-под халата, сшитого хотя и из толстой холстинки, но с карманами, и отороченного плисом, и, наконец, по тщательно сделанному пробору волос, которые, сверх того, по современной моде, были зачесаны на висках назад, — по всему этому легко можно было догадаться, что молодой человек занимался своею наружностью. Но при всем этом, я должен откровенно сказать,

¹ Женевьева, герцогиня Брабантская (VIII в.), по преданию, осуждена на казнь по подозрению в измене супружеской верности, но была отпущена палачом; через шесть лет найдена в горах мужем, убедившимся в ее невинности.

он был нехорош собой. Представьте себе какого-то грязного цвета волосы, в лице никакой значительности, никакого выражения, глаза до невероятности маленькие и узкие и, сверх всего этого, покровы лица почти совершенно розового цвета, с какими-то неприятными синими жилками.

Покуривши трубки, Степан Гарасимыч несколько времени ходил по комнате, посмотрелся в зеркало и потом, вероятно для того, чтобы рассеять скуку уединения, вынул из чемодана длинный ящик и открыл его. Оказалось, что в нем хранилась флейта, на которой молодой человек тотчас и начал играть народные песни: «Во лужях», «Возле речки, возле моста», «Сени мои, сени» и так далее; что касается выполнения, то Степан Гарасимыч играл, как я понимаю, так, что в иных местах выходило у него не совсем то, что бы следовало; но при всем том он с первого же раза давал в себе узнать если не знатока, то любителя музыки. Игра его продолжалась по крайней мере полчаса. На улице начала собираться обыкновенная публика, и в некоторых соседних домах открылись окна. В комнате давно уже появился знакомый нам мальчик; видя, что барин занят, и он также занялся: подошел к окну и начал ловить замирающих мух, насаживая их на соломинки.

— Ух... будет... даже вспотел, — произнес, наконец, музыкант, переставая играть. — Аркашка, вычисти трубку!.. Что ты тут делаешь?

— Ничего-с. Мамонька приехала с запасом.

— На одной?

— Нет-с. Мамонька — с дядей Григорьем, да Кузьма еще приехал на Рыжке. Письмо к вам, — отвечал мальчишка, подавая барину толстый пакет.

— Ну, хорошо. Где же мать-то?

— На печке лежит: озябла.

— А привезла ли она тебе что-нибудь?

— Колобок привезла.

— Покажи-ка!

Мальчишка вытащил из кармана какой-то сероватый комок и подал барину, который сначала понюхал его, потом, отломавши от него порядочный кусок, положил себе в рот.

— Хорош, — говорил он, прожевывая, — очень хорош, — прибавил он и еще отломил,

У мальчишки начали бегать глаза.

— Ну, на, возьми, — сказал, наконец, барин, — да не вдруг ешь, а то ты сразу и смелешь все, а тут и нет ничего.

Мальчишка положил колобок в карман и начал вычищать трубку. Продувши ее, он подал барину, который отпер стоящую около него жестяную сахарницу, в коей хранился не сахар, а табак, набил сам трубку, закурил ее, а сахарницу запер. Вслед за тем молодой человек распечатал письмо и начал читать. Письмо было длинное и написано какими-то иероглифами. Содержание его было следующее:

«Бесценный друг мой Степочка!

Во-первых, посылаю тебе мое родительское благословение навеки нерушимо. По твоему желанию, отправляю к тебе с Кузьмой Рыжку в дрожках, а также и запасу. Прими, друг мой, поаккуратнее. Я нарочно посылаю к тебе Аксинью: она верная и не растащит, — только ленива, за что ты, пожалуйста, чаще ее брани. Запасу отправлено: один пуд ситней, один пшеничной и три пуда оржаной муки, пуд толокна, до которого, я знаю, ты большой охотник... оно у нас нынче отличное вышло. Еще посылаю два десятка яиц, полпуда соленой баранины, двадцать фунтов масла, которое, надеюсь, что будешь беречь: оно нынче очень в цене; прекрасная наша скотница изволила дать только по двадцати фунтиков с коровы; не знаю, что и делать мне с этой плутовкой. Хотела было послать тебе два полотка, да этта все их продала на Преображенской ярмонке. Еще отправляю тебе четыре пуда посыпки. Окулинским мужикам велела к тебе привезти воза два соломы, и поэтому ты, батюшка, вели Рыжку кормить резкой, потому что сена не накупишься: оно у вас, говорят, по двадцати пяти копеек пуд. Денег тебе не посылаю, так как полагаю, что чаю и сахару тебе должно стать на все время. Еще прошу тебя, сделай милость, кури поменьше: этот проклятый табак убыточен, да и вреден. У нас теперь все, славу богу, благополучно; только жеребца твоего, не знаю, отчего, одолели бородавки. Молотить начали; нынешняя рожь, видно, хороша в поле, а не в сусеке. С нашего ма-

ленького овина всего сняли двенадцать четвериков. Нога моя, попрежнему, болит, рана все прибывает. Советовали было медовую лепешку прикладывать, — приложила, но еще хуже. Призывала из Дурандина лекарку: она говорит, что мне надобно киноварью подкуриваться. На днях заезжал ко мне становой подушную добирать и сказывал, что он видел тебя на вечере у Алексея Сергеича и что ты танцевал с барышнями, чем я душевно была обрадована. Пожалуйста, знакомься, мой друг, с хорошими людьми; ты теперь жених и должен дорожить репутациею, потому что поведение дороже всего. Насчет родственницы Алексея Сергеича, о котором ты пишешь, я ничего не могу сказать. Похвалы, конечно, я слышу о ней ото всех, но сама никогда не видала. Но меня единственно только то беспокоит, что она, как я слышала, не имеет никакого состояния. Надобно, мой друг, подумать и об этом. Я тебе при жизни, как сам ты знаешь, более тридцати душ разделить не могу. Если, как ты говоришь, насчет награды от Алексея Сергеича, то лучше этого не надо; он человек с состоянием, — но верно ли это? Еще я имею беспокойство и об ее образовании, вряд ли она будет тебе по характеру. Она, как я слышала, девушка нынешнего света, к хозяйству не приучена, будет требовать многого... чтобы после не раскаяться. Ты пишешь, что думаешь сшить себе новый фрак; но я полагаю, нельзя ли тебе его сделать из папенькиного сюртука, который тебе и посылаю, он почти новенькой; ты из него можешь сшить какое хочешь платье. Несчетно цалую тебя.

Остаюсь мать твоя

Аграфена Сальникова».

Прочитав письмо, молодой человек тотчас же занялся приемкой запаса и в этом случае оказал значительную опытность и большую внимательность. Он велел достать безмен, сам своими собственными руками взвесил муку, баранину, масло, посыпку, пересчитал яйца, положил все это в погреб, запер и ключи взял к себе. Окончивши хозяйственные заботы, он велел мальчишке ставить самовар, а сам, возвратившись, принялся писать ответ. В почерке и орфографии его чрезвычайно много было заметно семейного сходства с письмом матери.

«Бесценная маменька
Аграфена Кондратьевна!»

Спешу отвечать на ваше письмо и поцаловать заочно ваши ручки. Запас я весь сам принял: он в совершенной целости; только баранина, должно быть, от дороги завяла. Сюртук папенькин я смотрел и в завтрашний день пошлю за портным. Мне самому не хочется шить нового: нынешние сукна чрезвычайно гнилы и непрочны; впрочем, на днях я сшил себе белую жилетку, потому что, как вы знаете, жилеток у меня совершенно не было, и она вышла очень хороша. Только теперь желал бы иметь манишки; на петербургских уж есть дырочки. Время свое, бесценная маменька, я провожу как нельзя приятнее. Не могу описать вам, с каким удовольствием всё меня здесь принимают. Не знаю, как благодарить вас, милая маменька, что вы отпустили меня повеселиться в город. Сегодня вечер у Алексея Сергеича; меня тоже приглашала добрейшая супруга его и, узнавши, что я играю, просила меня прийти к ним с флейтой и поиграть. Насчет их родственницы, о которой вам писал, я слышал от верных людей, что Алексей Сергеич непременно ее наградят. Редкие родители так могут любить дочь родную, как они любят Веру Павловну, которые имеют и сами такие достоинства, что заставляют меня сомневаться в том, пойдут ли оне за меня; что же касается, то и я в этом деле без расчета действовать не буду и с Алексеем Сергеичем буду говорить подробно. Становой точно видел, как я танцевал; в этот вечер мы очень веселились, — после ужина начали танцевать новый танец гросфатер: я не умел, но меня выучили. Сахару у меня довольно, но чаю вряд ли хватит. Аркашка служит мне хорошо, только сапоги рвет ужасно; новенькие сапожки, которые вы с нами отпустили, он уже все стоптал и растрепал. Прося вашего родительского благословения и цалуя еще несчетно раз ваши ручки, остаюсь сын ваш

Степан Сальников».

Самовар был подан... Нельзя сказать, чтобы чайный прибор был прихотлив. Бок самовара, например, был значительно помят, конфорка тоже — у чайника приделана была, вероятно для крепости, оловянная ручка, —

и, наконец, стакан очень толстого, но не совсем белого стекла. Кушая чай, молодой человек явным образом обнаруживал в себе борьбу любви к этому напитку с расчетливостью. Сначала он положил одну ложечку чаю и тотчас же спил ее с одним куском сахара; видимо было, что он пил с большим удовольствием, потому что, после нескольких минут размышления, всыпал в чайник еще ложечку чаю и ту выпил почти так же скоро. Я твердо убежден, что ему хотелось еще третью, но он не решился из экономии. Напившись чаю, он принялся курить трубку; но и здесь опять можно было заметить расчетливость. Он, кажется, с умыслом не выколачивал всей трубки и набивал ее потом слегка, чтоб таким образом самого себя обмануть количеством.

Уж раз начав отзываться о молодом человеке так откровенно, я не могу удержаться, чтобы не рассказать о нем еще некоторых подробностей. У маменьки Степочки было около шестисот душ, из которых она более половины нажила сама, и нажила, прямо можно сказать, хозяйством и бережливостию. Она гнала деготь, сплавляла лес, откармливала каких-то необыкновенных свиней, за которых ей платили по сту рублей, сама ездила в Москву продавать индюшек и масло. Жила она всегда очень скромно, в старом флигелечке, и любила гостить у родных, — сама же всегда совестила принимать их в свой, как она называла, лабаз. Летом ходила она в канифасных, а зимой в холстинковых капотах, — ездила в линейке еще десятых годов, — крестьян своих до того умела приучить, что редкий из них не торговал чем-либо; а про хлеб и говорить нечего: начиная с барыни до последнего мужика, анбары были полны. Степочку Аграфена Кондратьевна безмерно любила и, кажется, сама не перенесла бы, если бы что с ним случилось; но при всем том держала его в полнейшем повиновении. В свое время, несмотря на расчетливость, она старалась было дать ему образование. Сначала учил его священник, а потом даже какой-то из дворян учитель, лет уже сорок занимавшийся образованием детей; но, к большому горю, должна была убедиться, что у мальчика решительно нет никакого желания и никаких способностей к наукам. После трехгодичного учения оба его наставника едва добились только того, что он кое-как умел читать и пере-

писывать прописи. Нельзя сказать, чтобы Аграфена Кондратьевна, при всей своей любви, не употребляла против сына некоторых мер строгости. Злые языки после говорили, что будто бы она даже и заколотила его в малолетстве. Кроме учения, в других отношениях ребенок обнаруживал чрезвычайно много достоинств. Опрятный, бережливый, любивший всякую дрянь, какая ему ни попадалась: железо ли, козанок ли, камешек ли какой цветной, — тотчас запрятать в свой сундук и запереть. К хозяйству он был также очень способен: еще с двенадцати лет он выдавал мясчину не хуже большого, знал как пять пальцев, когда принимаются сеять яровое и озимое, и всегда почти первый усматривал, когда начинала течь рожь. Но Аграфене Кондратьевне, как матери, конечно, хотелось более: она желала, чтобы сын ее на казенный счет выучился превосходно всем наукам, потом получил бы место с огромным жалованьем и, наконец, женился на миллионерке. Но выходило не совсем то. Ахая и горяя, она отдала сына в гимназию. Несмотря на то, что мальчику уже был тринадцатый год, его едва только приняли в первый класс, где он и пробыл два года, и только на третий год, и то более за хорошее поведение, переведен был во второй. Здесь началась та же история. Аграфена Кондратьевна потеряла терпение и взяла сына; но, все еще не теряя надежды устроить карьеру его, она обратилась с просьбою к родному брату, служившему в Петербурге, умоляя его не оставить сироту Степochку и определить на хорошее место. Брат изъявил согласие. С плачем и воплем отправлен был молодой человек в Петербург с своим собственным мужиком, промышлявшим там обручным мастерством. Но с первой же почты начали от него приходиться самые неутешительные письма. Он писал, что дяденька человек очень гордый, принял его очень сухо и не только что не пригласил жить у себя, как думала это маменька, но даже ни разу не оставил у себя обедать, и что определил на место без жалованья, тогда как в Петербурге за воду даже платят, а к другому уж лучше не приступайся, что он, то есть Степochка, остановился у своего мужика, которому за стол и за квартиру должен будет платить по тридцати рублей в месяц, и что, наконец, петербургский воздух для него очень вреден, и он все хворает. Так прошел год.

В заключение всего Аграфена Кондратьевна получила письмо и от брата, очень неприятного и даже обидного содержания. Он ей писал:

«Любезная сестра!

При всем моем желании быть полезным для твоего сына, я ничего не могу для него сделать. Степан твой не хочет, да и не может здесь служить. До сих пор я не могу от него добиться, чтобы он с толком переписывал бумаги. Тебе стыдно и грешно было запустить так его воспитание; к тому же и теперь ты содержишь и одеваешь его, как лакея, так что мне совестно моих чиновников, и я уже на свой счет велел ему сделать фрак, каковые деньги, то есть двести рублей, и прошу мне выслать. Я знаю, что ты безумно скупа, но хоть бы припомнила пословицу, что «глупому сыну не в помощь богатство». Если Степан и на дальнейшее время останется так же безуспешен по службе, то я не в состоянии буду долее его держать».

Глубоко оскорбившись, Аграфена Кондратьевна сама написала брату колкое письмо, в котором, между прочим, объясняла, что сын ее был и будет одет всегда прилично, а не так, как лакей, что безвинно оскорблять мальчика и называть его дураком грешно, особливо близкому человеку; но что все это происходит от того, что важные родственники всегда тяготеют сделать какое-нибудь одолжение и что, наконец, она сыном своим не желает отягощать его, потому что Степочка ее благодаря бога и без дяденькиной протекции будет иметь кусок хлеба.

Брат в свою очередь тоже очень оскорбился этим письмом и тотчас же велел Степочке отправляться к маменьке на печку, чему последний очень обрадовался и в тот же почти день собрался и уехал из Петербурга. Возвращение сына на родину, впрочем, очень огорчило Аграфену Кондратьевну; но потом, рассудив хорошенько, что, видно, это так угодно богу, она решилась его держать в деревне, приучать покуда к хозяйству, которое, повидимому, он очень любил, а потом женить повыгоднее.

«На словах он очень не дурак, — рассуждала она сама с собою, — о некоторых вещах рассуждает очень здраво и умно; поведения прекрасного; собой недурен, особенно в петербургском платье; бережлив до невероят-

ности и даже скуп», чему она тоже душевно радовалась, будучи твердо уверена, что имение ее не будет со временем промотано. «Насчет хорошей партии тоже сомневаться нечего, потому что сравнительно с другими он богатейший в губернии жених». На этом Аграфена Кондратьевна успокоилась и зажила с сыном припеваючи. Степочка совершенно попал в свою сферу: он ходил по работам, сидел на мельнице, толковал с дворовыми людьми, весил, мерил, подряжал плотников и тому подобное. Для полного охарактеризования молодого человека я считаю за нужное прибавить, что главная его мечта была — иметь свою собственность, и потому, несмотря на малое количество денег, которое получал от матери, он уже успел скопить около тысячи рублей. Поселившись в деревне, он выпросил сначала у Аграфены Кондратьевны особенный огородец, потом пару лошадей, а затем почти половину папенькиного гардероба, сберегаемого лет двадцать, и, наконец, уговорил мать отдать ему, хоть куда на словах, особую небольшую усадьбу, с тридцатью душами, в которой он сам и хозяйничал: продавал из нее все, сбирал с мужиков оброки и все вырученные деньги прилагал к своему капиталу, тщательно скрывая от матери свои доходы и говоря ей, что ничего еще не приобрел. Виды его насчет собственности простирались еще далее. Он желал, чтобы маменька отделила ему не тридцать, а триста душ, и отделила по всем актам, а не на словах; но Аграфена Кондратьевна и слышать этого не хотела. Главные потребности Степана Гарасимыча были весьма просты: он очень любил ходить в баню и был страстный охотник пить чай и курить трубку; за последнее Аграфена Кондратьевна всегда ему выговаривала; но Степочка оправдывался тем, что он курит Вахрамеева табак — недорогой, но здоровый. Платье себе он шил редко, но зато был так опрятен, что на всем его гардеробе вы, конечно, не открыли бы ни одного пятнышка. Одно только было ему неприятно, что, поживши в деревне с год, он начал заметно полнеть, и потому все платье сделалось ему значительно узко. В свободные от хозяйства минуты Степан Гарасимыч играл на флейте, — искусство, которому он выучился в Петербурге, и выучился совершенно случайно. Ему удалось на толкучке купить флейту за три гривенника. Приобретя инструмент, он начал учиться надувать его и в настоящее время играл

уже, по слуху, несколько песен, и даже две мазурки, и вальс, и учился разбирать ноты. До музыки он был с детства большой охотник. Живя в Петербурге, несмотря на свою расчетливость, он раза два ходил слушать орган Палкина¹ и был несколько раз в театре в опере. Но главная его страсть, кажется, была к золотым и брильянтовым вещам. По настоящее время у него было четверо часов, несколько булавок, запонок, перстней. С собой и своей наружностью он постоянно был доволен, за исключением, впрочем, красноты, которою, особенно в жаркое время года, ужасно тяготился. Но да не подумает читатель, что для сердца молодого человека не были доступны и другие, более нежные движения. Прекрасный пол давно уже волновал его воображение. Несколько приключений, случившихся по этому предмету с Степаном Гарасимычем, ясно доказывали, что он для любви был способен на самоотвержение: так, например, ухаживая за одною барышнею, очень бедною и собой даже дурною, он так позволил себя завлечь, что его чуть не увезли и не обвенчали на ней. Кроме этих исключительных привязанностей, молодой человек интересовался вообще всеми девицами и молодыми дамами и был с ними замечательно любезен и разговорчив. Разговаривать, впрочем, он любил со всеми: и с барышнями, и с своим братом, и с соседним мужиком. На двадцать девятом году молодой человек, наконец, окончательно решился жениться, на что была вполне согласна и Аграфена Кондратьевна. На семейном совещании положено было: ехать Степочке в сентябре для приискания невесты и для рассеяния месяца на два в уездный городок К.

Приехав и поселившись у Кузьминишны, Степан Гарасимыч, по приказанию маменьки, сделал всем визиты и был принят всеми очень хорошо, особенно в доме Алексея Сергеича. Конечно, все разумели его, как Степочку, и очень хорошо знали, что он был совершенно неспособен к наукам, что на словах иногда так провирался, что из рук вон, а многим даже хорошо была известна его неимоверная скупость. Но благоустроенное состояние заставляло забывать все, и некоторые папеньки

¹ В петербургском трактире Палкина был установлен для привлечения публики орган.

и маменьки все странные поступки молодого человека относили к одному только благоразумию. Почтенный и богатый Алексей Сергеич хватил в этом отношении дальше всех. Он отзывался о Степане Гарасимыче, как о скромном, но очень неглупом человеке и весьма недурно воспитанном, приводя в доказательство то, что будто бы он музыкант и очень хорошо играет на флейте. В обществе даже поговаривали, что вряд ли он не намерен просватать за него свою родственницу — девушку, по общей молве, небогатую, но превосходно воспитанную. Молодые дамы и девицы не разделяли, впрочем, этого выгодного мнения о т-г Сальникове и называли его между собою *противным*.

Напившись чаю, Степан Гарасимыч позвал к себе Аксинью, которая между тем уже отогрелась на печке, и вступил с нею в разговоры. Сначала расспросил он ее очень подробно, на сколько маменька запродавала хлеба, не появляется ли в озими червь от сырости, каков в загородах для скотины корм, и даже поинтересовался узнать, сколько в имении родилось мальчиков. Часу в осьмом он начал собираться на вечер.

— Видала ли ты, Аксинья, такие жилеты? — сказал он, показывая ей новый белого пике жилет.

— Где, батюшка, видеть-то — нет-с! Что мы, деревенские дуры, видели... ничего, акромья лесу, не видали!

— Ну, постой, погоди, я тебе покажу еще одну штучку. Узнаешь ли ты, что это такое?.. — сказал с лукавою улыбкою барин. — Аркашка, ты, смотри, не сказывай матери, что это такое, — прибавил он и, развернувши свой атласный шарф, показал его Аксинье.

Та первоначально ахнула, потом похвалила.

— Что это такое? — повторил Степан Гарасимыч.

— Не знаю, что такое: плат либо кушак? должно быть, кушак-с.

Барин захохотал во все горло, Аркашка тоже.

— Ты-то что, пострел пучеглазый, смеешься! — сказала Аксинья в сердцах сыну.

— Видала ли ты меня, Аксинья, нарядным-то? — спросил Степан Гарасимыч, переставая смеяться и вынимая собственными руками из сундука фракную пару, белый жилет, шарф и манишку.

— Нет-с, хорошенько-то не видала! Раз в церкви... да и то мельком: из-за народу-то не видно было.

— Ну, так ты подожди в лакейской; я оденусь и покажусь тебе.

Аксинья вышла. Стенан Гарасимыч с помощью Аркадия начал одеваться и, когда был совсем готов, велел позвать Аксинью.

— Что, хорошо ли? — спросил он.

— Хорошо, батюшка; только отчего это у вас аполетто нет? Вот из Егорьевского барин так в аполетах.

— То, дура, военный, а я штатский.

— Так-с... Вы куда же это теперь изволите собираться-то?

— В гости: танцевать. Там все невесты будут; я имею, признаться сказать, тут маленько расче́тец на одну ба́рышню!

— Ну вот, батюшка, слава богу! маменька насчет этого больно желает. Мне перед отъездом изволила говорить: «Очень бы, говорит, Аксинюшка, я этого желала».

— Эх, маменька, маменька!.. — произнес молодой человек со вздохом. — Желать она, конечно, желает, да делает не то. Кабы наперед обеспечила да собственным-то домом меня завела, так жениться-то бы было и сподручнее; а то говорит: возьми тридцать душ да и заговейся на том; а жить-то потом мне, а не маменьке придется. Ну, так я и должен иметь на это свое собственное соображение.

— Вестимо, батюшка, свой разум царь в голове, — подхватила Аксинья.

— Да... то-то царь в голове; а как женишься без соображения-то, так и выйдет бог знает что. Тут первый пункт — состояние. Вот нынче приказные, и те хотят, чтобы приданое было да тысяч пять денег; да года три еще теть-то его хлебом кормит... так оно и составит кой-что!

— Вы уж, батюшка, богатую берите; бедную нам на что? бедную-то нам не надобно!

— До бедных я и сам не охотник. Теперешнее дело мое вот какое: у невесты ничего нет; да дяденька есть с кубышкой: так и починай ее; а девушка-то красавица из себя, как картинка; третьего дня я во сне даже видел, что будто она уж спит со мной.

— Дай бог, батюшка, добрая бы только была да справедливая, как маменька ваша: требует, например,

хошь и строго; а все в деле. На всем околотке спросите, нигде от нас жалоб нет; только вот насчет месячины¹ маленько идет...

— Нет, Аксинья, ты этого не говори: месячины идет довольно.

— Ну, батюшка, ваше дело! конечно, нам говорить не приходится.

— Ну, теперь ступай; завтра для меня ничего не готовь: может быть, куда-нибудь обедать позовут; а нет, так и вашего поем. Квас чтобы был: я его с толокном очень люблю. Запас, пожалуйста, поберегай, а то не опять же сюда загонять подводы. Если будет оставаться что с вечера, так ты на другой день и не готовь: перебежмся как-нибудь.

— Слушаю-с! — отвечала Аксинья и пошла было.

— Аксинья! — кликнул Степочка. — Рыжка, я думаю, отдохнул: скажи-ка Кузьме, чтобы мне заложил его в дрожки; а то скверно: все пешком хожу... как будет готово, так доложили бы мне...

Оставшись один, молодой человек начал глядеться в зеркало и, видимо, остался доволен собою и своим туалетом. Но я с своей стороны не скажу этого: костюм его был даже совершенно неприличен для наследника шестисот душ: фрак — еще петербургский, который сшил ему дядя, и потому этот фрак принадлежал к той давно минувшей моде, когда талии носили только что не на лопатках и очень много настегивали ваты; белого пике жилет, которым богатый жених так гордился, был никуда негодно сшит, да и самое пике было весьма двусмысленной доброты; про петербургские манишки с дырочками и говорить нечего: они ниже всяких слов; брюки тоже: вытянутые на коленках, с морщинами и с какими-то тоненькими штрипками, — одним словом, бчень нехороши! Но все это Степан Гарасимыч скрасил, надев одни из своих часов с толстою золотою цепочкою и украсивши свои руки двумя перстнями. После некоторого размышления он и в шарф воткнул брильянтовую булавку.

Проект его ехать на Рыжке не состоялся, потому что Кузьма... Но здесь я нужным нахожу сказать несколько слов о Кузьме: во-первых, он был, надо полагать, очень

¹ Обезземеленные крестьяне, переведенные помещиком на барщину, получали месячину — месячную натуральную плату.

хороший кучер, потому что в самую темную ночь, даже подгулявши где-нибудь на празднике, привозил домой барыню в ее колымаге совершенно благополучно; во-вторых, кое-что знал по коновальному делу и очень любил пускать лошадям кровь и вообще этих животных любил исключительно и только настойчивостью своего характера выпрашивал у барыни получше для них корм. Но, при всех этих кучерских достоинствах, он имел один огромный недостаток: был чрезвычайно груб как с своим братом, так и с господами, чувствуя особое расположение говорить и действовать им наперекор, и в малейших пуस्तяках старался их переумничать.

Степан Гарасимыч сидел по крайней мере полчаса в ожидании лошади. Наконец, у него не достало терпения: он вышел на крыльцо. Кузьма и не думал закладывать дрожки, а преспокойно сидел в избе и перебранивался с Аксиньей, утверждая, что лошадь и без того измучена.

Зная, что Кузьму переспорить не было никакой возможности, Степан Гарасимыч только плюнул; а через несколько минут, надевши пальто на вате, сшитое из папенькиной зеленого цвета шинели, и круглую складную шляпу, купленную им еще в Петербурге по случаю, он шел уже по деревянному тротуару, бережно обходя все лужи, что было сделать довольно трудно: ночь была хоть глаз выколи. Но, несмотря на это, молодой человек дошел благополучно и имел только маленькую неприятность от двух собак, которые крепко было к нему привязались. Но он знал для спасения от этих беспокойных животных прекрасный способ: присесть на корточки к земле, и собаки, воображая, что на них берут камень, полаявши, обыкновенно разбегаются, что и в этот раз было им исполнено с совершенным успехом. Флейту свою Степан Гарасимыч велел Аркашке, часа через два, принести в лакейскую Алексея Сергеича и потихоньку себя вызвать.

II

У Алексея Сергеича Ухмырева, к которому отправился Степан Гарасимыч танцевать, любезничать с барышнями и сыграть что-нибудь, по желанию хозяйки, на флейте, было уже довольно много гостей. Весь дом, как водится, был освещен. Трудно описать, насколько этот

дом был для всех городских и уездных господ приятным убежищем, — не говоря уже того, что в нем все было для уездного городка даже слишком богато, или, лучше сказать, все блестело, начиная с паркетного пола до бронзовой, под чехлом, люстры. Драпировка была тоже везде, где только ей позволительно быть: и на всех окнах, и на дверях, и даже между двумя колоннами, отделяющими в наугольной комнате небольшое возвышение, обставленное с боков цветами. Но все это было ничтожно в сравнении с тем радушным приемом, который находил в этих стенах каждый, особенно играющий хоть немного в карты, так как хозяин и хозяйка были страстные до них охотники. В продолжение целого года не проходило почти ни одного вечера, чтобы в этом гостеприимном доме не играли стола на два в карты. Званные обеды тоже повторялись довольно часто, а запросто — так уж, конечно, каждый день кто-нибудь из посторонних обедал. Про самого Алексея Сергеича говорили еще нечто не в его пользу: признавая в нем доброту, многие понимали его так, что живет он на широкую ногу не по гостеприимству, а по самолюбию, потому что богатство предпочитает всему и в знакомстве очень неровен: перед богатыми и знатными унижается, так что видеть неприятно, а кто победнее, так поднимает нос и даже никогда не платит визитов. Смеялись также очень над тем, что он, стараясь представить из себя барича и человека образованного, рассказывал, что будто бы не может есть того да другого, что местной мадеры и наливки запаху даже слышать не в состоянии и привык только пить заграничные вина и, наконец, что будто бы очень много читает. Но этому решительно никто не верил, и некоторые утверждали фактами, что пить и есть он может все и что книги выписывает для одного форса, сам же их и не разрезывает, так как он человек самого маленького образования: очень некрасноречив в разговорах, да кроме того и в языке имеет небольшую помеху, потому что когда говорит, то как будто бы заикается. К нему даже прикладывали пословицу: «родись не умен, не пригож, а счастлив», на том основании, что в молодости своей он был, как говорили, совсем пустой малый: картежник, мотишка и собой весьма непрезентабельный, но при всем этом успел, однакоже, внушить любовь в богатой вдове — теперешней его супруге — и, женившись на ней,

вышел, по состоянию, в люди. Но никто ничего подобного не говорил про m-me Ухмыреву: она пользовалась не только всеобщим уважением, но даже любовью: в устах всех и каждого именовалась она наидобрейшею Авдотьей Егоровною. И в самом деле это была дама самого деликатного воспитания и самых нежных от природы чувств. Ни к кому во всю свою жизнь не относилась она без ласкового эпитета. Говоря с самою бедною женщиною, она называла ее: *милушкой* или *душа моя*. Дам равных с нею она именовала *многоуважаемая* или *неоцененная моя*. С молодыми девицами была тоже очень приветлива: *chère Catiche, mon aimable Nina*¹ — относилась она к ним. Разговаривая с молодыми людьми, она обыкновенно прибавляла: *внучек мой, сынок мой, остроумный шалун наш*. Даже лакеев своих она называла ласкательными именами: *Петруша, Ванюша*. Доброта ее доходила, впрочем, и до некоторых крайностей: она ни за что в мире не согласилась бы есть ни мяса, ни дичи, ни рыбы, если бы только перед обедом сказали ей, что это мясо коровы, которую третьего дня закололи, что жареного тетерева вчера застрелили и что, наконец, эту прекрасную стерлядь в ухе почти живую положили в кастрюлю. Покойников она тоже очень боялась, или, лучше сказать, просто не могла о них слышать, — вследствие чего ее муж и все хорошие знакомые тщательно скрывали от нее, если кто-нибудь в городе умирал. К собакам и кошкам, которых в доме держалось огромное количество, была страстна. В карты, как я и прежде объяснял, Авдотья Егоровна очень любила играть и была большая мастерица этого дела, но вместе с тем играла с таким благородством и с такою уступчивостию, что людям благородным, но дурно играющим, с нею было даже совестно играть, люди же неблагородные, но хорошо играющие, этим, конечно, пользовались. Злоречия моя добрая дама очень не любила и всякий раз делала грустный вид, когда ей кто-нибудь начинал рассказывать в этом роде. В настоящее время ей было с лишком за сорок, чтобы не сказать: и все пятьдесят... Лицо ее, как я полагаю, некогда довольно нежное, походило уже теперь на испеченное яблоко. Одевалась она не только хорошо, но даже богато, и очень любила душиться модными духами. Это

¹ Дорогая Катенька, моя любезная Нина (франц.).

последнее обстоятельство служило поводом к легкой насмешке насчет ее. Некоторые подозревали, что будто бы эта почтенная женщина считает еще себя не совсем дурною и верит в возможность производить некоторое впечатление своею наружностью. Но я с этим несогласен и отношу изысканность ее туалета к одному опрятству и хорошим привычкам.

С год тому назад дом Алексея Сергеича еще более одушевился: в нем появилась племянница Авдотьи Егоровны, Вера Павловна Ензаева, московская барышня, родившаяся и воспитанная в богатстве, но в настоящее время сирота и без всякого состояния. Алексей Сергеич, а более того Авдотья Егоровна любили ее, кажется, как родную дочь и, не имея родных детей, целью своей жизни поставили себе упрочить ее будущность. Одевали ее как куклу. Собственно для нее выписали они из Москвы превосходный лихтенталевский рояль и, наконец, затеяли танцевальные вечера. Авдотья Егоровна с восторгом рассказывала всем знакомым, какая музыкантша ее племянница и как она всегда плачет, когда *chère Véra*¹ в сумерки разыгрывает какую-нибудь увертюру. Что касается до самой молодой девушки, то на первом же бале, который Алексей Сергеич дал по случаю ее приезда и на котором Авдотья Егоровна представила ее обществу, всеми почти дамами было замечено: во-первых, что Вере с лишком и даже очень с лишком за двадцать; во-вторых, о цвете лица ее решили, что днем он желтоват, а румянец даже болезненный; это подтвердил и местный доктор: он рассказывал многим, что девушка очень слабого сложения, страдает нервными припадками и склонна к чахотке; и, наконец, в-третьих, было открыто, что Вера не имеет настоящего светского образования, а только учена, и потому о своей учености чересчур много думает, и вообще не любезна, особенно с дамами и девицами, из которых с некоторыми она даже не проговорила ни одного слова, а рассуждает больше с мужчинами, и то все о поэзии, музыке и тому подобных предметах, что и относили к кокетству и гордости с ее стороны. Большая часть мужчин не соглашалась с мнением дам. Они утверждали, что у Веры Павловны прекрасные карие глаза, цвет лица не желтоватый, а матовый, который к ней

¹ Дорогая Вера (франц.).

очень идет, и что, наконец, она ума необыкновенного для женщины.

В настоящее время танцевальные вечера у Алексея Сергеича, по случаю дворянского съезда, были весьма многолюдны. Не говоря уже о прекрасном поле, которого в провинции всегда бывает достаточно, но даже кавалеров, и кавалеров танцующих, было четверо, а именно: знакомый наш Степан Гарасимыч, отпускной улан Карелин, вышеупомянутый доктор, хотя уже не молодой и женатый, но большѣй еще любезник с дамами, некто м-г Мишель, преумный и премиленький мальчик семнадцати лет, приготовлявшийся поступить в гусары, и, наконец, еще некто м-г Шамилов, молодой помещик, с полгода уже приехавший в свою небольшую усадьбу. Но сей последний, впрочем, чересчур много важничал, выгибал из себя какого-то ученого человека, мало танцевал и, по последним замечаниям, очень интересовался Верой Павловной, которая и сама, повидимому, предпочитала его прочим молодым людям.

Тетка и дядя, впрочем, этому не сочувствовали; по крайней мере Алексей Сергеич во всеуслышание отзывался очень дурно о Шамилове и называл его недоученым философом и несносным фантазером.

Но обращаюсь к самому рассказу. Гостей, как я и прежде заметил, было довольно. В кабинете играли на двух столиках: на одном сам хозяин, с теми, кто позначительнее, а на другом была партия гораздо пониже. Разговор между игроками был обыкновенный, карточный: то есть спорили о том, у кого была дама и у кого король, и, наконец, кто глупо и нерасчетливо сыграл, — и спор этот, как водится, был довольно запальчивый и исполненный личностей друг против друга. Низшая партия была гораздо скромнее; она только немилосердно курила в четыре трубки. По зале ходили две девицы: Ирин Шмакова и Софи Моросенко. Обе эти барышни воспитывались вместе в губернском пансионе и, по дружбе родителей, а еще более того — по влечению своих собственных сердец, еще на школьной скамейке соединились узами теснейшей дружбы. Выходя из пансиона и разделившись семидесятиверстным пространством, они обливались горькими слезами, долгое время грустили друг о друге и завели потом каждаедедельную переписку. Они имели чрезвычайно много между собою тайн и при личных своих

свиданиях всегда говорили о своих знакомых личными местоимениями: *он* и *она*. При такой нравственной симпатии по наружности они были различны: Ирин Шмакова была высокая худощавая брюнетка и гордилась стройностью талии. Откровенно говоря, она была нехороша собой. Но Софи Моросенко цвела здоровьем: маленькая ростом, чересчур румяная, совершенно без талии, но в то же время с очень приятною физиономиею. Несмотря на различие комплекции, обе девицы, по чувству дружбы, всегда сохраняли буквальное сходство в туалете. В настоящем случае они были одеты в розовые газовые платья с белыми поясами и с незабудками на голове. Молодая дама, некая Катерина Петровна, была тоже их друг и знала все их тайны. В костюме своем она, конечно, не подражала им. На ней был вердепомовый полукапот, отделанный черными кружевами. Она была бы недурна, если бы выражение ее лица менее походило на птичье. Ее разумели как даму милую, но немного вредную на языке. Разговор в настоящем случае эти дамы вели между собою на французском диалекте и смеялись насчет Веры Павловны, которую все они не любили, потому что она с ними почти никогда не занималась, что ей следовало делать как хозяйке дома. В гостиной тоже играли на двух столиках: Авдотья Егоровна, как и муж, составляла партию позначительнее, а на другом столике сражались в преферанс три старые барыни старыми картами и, кажется, по копейке серебром, но зато с пеной на губах от злобы друг против друга; по стене около окон сидело несколько молоденьких барышень.

В наугольной комнате, на том возвышении, о котором я прежде упоминал, сидела Вера Павловна. Она была очень интересна в белом газовом платье, между цветами, и слегка облокотившись на маленький столик. Перед нею, несколько в почтительном отдалении, сидел молодой человек. Лицо его, довольно приятное, имело отчасти ученое выражение, то есть он был в очках, с длинными и небрежно зачесанными назад волосами, в визитном полуфраке и гладко натянутых перчатках, и вообще несколько смахивал на итальянского художника. Это был м-г Шамиллов. Собеседники некоторое время молчали. Молодой человек сидел задумавшись, обрывая с розана лепестки, который он сорвал с близ стоящего куста.

— За что вы так истерзали этот несчастный розан? — сказала девушка с улыбкою.

— Я-с?.. — проговорил молодой человек, как бы придя в себя. — Я и сам не знаю, что делаю, — прибавил он.

— Вы не любите цветов?

— Нет.

— Не верю.

— Почему же?

— Так: надобно быть очень злым человеком, чтобы не любить цветов... моря... лес... небо... как все это хорошо! особенно лес! я очень его люблю... Мне кажется, что всякое деревцо думает и что, может быть, они говорят между собой, когда шелестят листочками.

— Лес я сам люблю более другого. Он по крайней мере поражает меня своим величественным спокойствием.

Вера Павловна покачала головою.

— Не шутя говорю, — продолжал молодой человек, — я в природе чувствую одно только величие и спокойствие. Красоты я в ней не вижу; если она и существует, то очень вдали; вблизи природа груба.

— А цветы?.. Неужели вы не чувствуете их красоты?

— Точно ту же красоту я вижу и в нарисованном цветке.

— Нет, ей-богу, нет, monsieur Шамилов! Я никогда не соглашусь с вами, — возразила девушка. — Я очень люблю цветы: они живут, чувствуют.

— Полноту ваших чувствований, Вера Павловна, вы переносите на природу. Из ваших слов она, мне кажется, гораздо лучше, чем я сам ее вижу.

На несколько минут разговор прекратился.

— Пишете ли вы теперь? — начала опять девушка. — Помните, вы мне говорили, что у вас начато об идеалах поэзии. Это должно быть очень любопытно.

— Да, я начал, но отстал, — отвечал Шамилов. — Теперь в моей голове более серьезная мысль, которая мучит меня день и ночь, но за которую все-таки недостает воли приняться.

— Отчего же?

— Оттого, что я теперь более способен чувствовать, чем мыслить, — отвечал Шамилов.

Вера посмотрела на него.

— Какая же ваша мысль? — спросила она после нескольких минут молчания.

— Я думаю, — начал Шамилов несколько профессорским тоном, — приняться за большое дело: написать драму из греческой жизни.

— Из греческой жизни? — спросила Вера Павловна с удивлением.

— Чему же вы так удивились?

— Да так; немного странно нынче писать из греческой жизни. Что же это будет — вроде Озерова: «Эдип в Афинах»?¹

— Совсем в другом! — возразил Шамилов, как бы несколько уже обиженным тоном. — Послушайте, — продолжал он многозначительно и ударив себя в грудь, — в писательстве, как и во всяком другом хорошем деле, должно или что-нибудь делать серьезное, или ничего не делать. Не романы же слагать à la Dumas², не повести же рассказывать, как рассказывают их наши беллетристы; и читать-то подобную галиматью терпенья нет.

Вера в продолжение нескольких минут и очень внимательно смотрела на него.

— В чем же собственно будет состоять сюжет вашей трагедии? — спросила она.

— Вы, конечно, знаете, что в Греции существовало постоянно одна за другой несколько философских школ. Эти-то школы я и думаю олицетворить в одном человеке, который первоначально живет, мыслит, составляет некоторую систему и результаты своего мышления вводит в общество, которое, конечно, на первом шагу ему противодействует. В нем возбуждается драма; но он не слабеет и торжествует — это первый акт. Но потом, по процессу мышления, он достигает новых результатов и составляет новую школу; против него снова восстают, укоряют его прежними выводами, не сознавая того, что новые результаты вовсе не противоположны прежним и вовсе не уничтожают их, но, напротив того, вытекают из них же и представляют собою одно только органическое развитие мысли. Драма в философе возбуждается страшная;

¹ «Эдип в Афинах» — трагедия В. А. Озерова (1769—1816), впервые поставленная в 1804 году.

² Дюма Александр (Дюма-отец 1803—1870) — французский писатель, автор многочисленных занимательных романов.

Но он снова торжествует и снова достигает новых результатов. Так он проходит все системы и, наконец, впадает в скептицизм, к которому Греция была уже готова, и вместе с нею падает. Но главное дело в том, что вся драма будет обставлена обычаями из греческой жизни, все должно быть проникнуто этим художественным греческим чувством, все сцены будут происходить в этих афинских портиках, в их таинственных храмах или, наконец, на площадях под чудным и прекрасным небом...

— Это будет чудесно, — сказала Вера. — В стихах?

— Конечно.

Между тем в зале, куда вошел Степан Гарасимыч, происходили совершенно другого рода сцены: там ходили те же две девицы и дама. М-г Сальников расшаркался перед ними.

— У себя Алексей Сергеич? — отнесся он к Ирине Шмаковой.

Та посмотрела ему в лицо и немного сконфузилась; дама сделала гримасу.

— У себя-с? — повторил Степан Гарасимыч.

— Дома, — отвечала девушка и очень уже сконфузилась.

— А где я их могу видеть? — продолжал гость допрашивать.

— Он, кажется, там, — подхватила с пренебрежением дама, указывая на кабинет.

— Merci, madame¹, — отвечал Степан Гарасимыч и, снова расшаркавшись, ушел в кабинет.

— Можно ли быть так глупу: спрашивает нас как швейцара! — сказала дама. — Я хотела его послать в лакейскую спросить об этом.

— Я чуть не умерла со стыда, — произнесла м-ле Шмакова. — Сначала я и не поняла, что он меня спрашивает.

— Я видела, что вы растерялись, и потому поспешила к вам на помощь, — проговорила дама.

При входе Сальникова в кабинет хозяин издал звуки радости, и, тотчас же взявши гостя за обе руки, дружески потряс их и потом поцеловал его в уста.

— Как ваше здоровье? — спросил тот, расшаркавшись прочим игрокам.

¹ Благодарю вас, сударыня (франц.).

— Ничего, хорошо; ну, а вы что... как?..

— Я так-с... так же, как и вы... Здоровье Авдотьи Егоровны?

— Авдотья Егоровна у меня все хилеет, — сегодня, впрочем, ничего.

— Веря Павловна тоже, полагаю, здоровы?

— Здорова. Прошу присесть.

— Благодарю вас: все сидел.

— Прикажете трубку, сигару, папироску? Мальчик!.. Чего прикажете?

— Позвольте уж беспокоить вас трубкой.

— Трубку, скорее, да чаю сюда! — сказал хозяин и на несколько минут отвернулся от Степана Гарасимыча, потому что должен был играть.

Сыгравши партию, он снова обратился к гостю и, не находя, кажется, о чем бы с ним заговорить, глядел на него ласково.

— Как проводите ваше время? — спросил Степан Гарасимыч.

— Так себе: после обеда все дуемся в карты, а поутру погулял немного... А вы — не гуляете?

— Здесь — нет-с!.. — здесь неприятно гулять... собак очень много... По рядам пройти, конечно, приятно, но ведь деньги надобно мотать, а в деревне-с я целый день в поле: там, по-моему, запах этакой приятный: рожью, сеном... я очень люблю, как сухое сено пахнет.

— Да, запах приятный! я сам люблю... Матушка ваша здорова?

— Слава богу-с; только рана на ноге все их беспокоит.

— Рана?! и большая?

— Я думаю — в медный пятак.

— В медный пятак, однакож? какая большая! А давно?

— Третий год.

— Третий год, скажите, пожалуйста! Как, я думаю, это им неприятно?

— Ничего-с: маменька уж привыкли, — под старость уж ничего; вот нам, молодым людям, было бы неприятно, потому что танцевать нельзя.

— Да, конечно, молодые люди другое дело, но и старики тоже чувствуют, — проговорил хозяин, снова обращаясь на некоторое время к игре.

Степан Гарасимыч между тем пил чай и курил трубку, и когда он допил свой стакан, то роббер уже кончился. Алексей Сергеич встал и взял его под руку.

— Вы не видали еще жены? — спросил он.

— Не имел еще счастья...

Они пошли и, проходя залу, оба улыбнулись дамам.

— Eudoxie! Степан Гарасимыч!.. — сказал Алексей Сергеич, подходя к жене.

— Bonsoir, monsieur Salnicoff¹, — произнесла та самым приветливым голосом, протягивая гостю руку.

— Ваше здоровье? — спросил тот.

— Благодарю вас! Сегодня я здорова.

— Может быть, оттого, что вы сегодня приятно проводите время.

— Да! Но я никогда не скучаю. Благодаря наших знакомых мы никогда почти не бываем одни.

— Знакомые ваши, я думаю, вам более обязаны, — возразил Степан Гарасимыч, — потому что вы их так угощаете, что другие, я думаю, во всю жизнь дома того не видали.

При этом откровенном замечании молодого человека некоторые из сидевших вблизи гостей покраснели, а другие только улыбнулись; хозяйка потупилась.

— Вы помните ваше обещание насчет флейты? — сказала она, как бы желая переменить разговор.

— Я никогда не позволю себе забыть обещаний, которые я давал дамам.

— Право?

— Дамы сами так добры и так милы, что обманывать их грешно.

— А как между тем часто мужчины обманывают женщин, — заметила одна из игравших дам.

— Конечно-с, это бывает; но это, сами согласитесь, какие-нибудь прохвосты! — проговорился опять Степан Гарасимыч.

Авдотья Егоровна опять потупилась, некоторые из гостей засмеялись; молодой человек, кажется, и сам заметил, что уж чересчур откровенно выражался, а потому и сам несколько смешался.

— Вера Павловна, может быть, еще не вышли из своей комнаты? — сказал он.

¹ Добрый вечер, господин Сальников (франц.).

— Нет; она, кажется, в наугольной.

Степан Гарасимыч отошел от хозяйки. Между тем Алексей Сергеич, подведя гостя к жене, хотел было вернуться в свой кабинет, но, увидев в зеркало, что Вера сидит с Шамиловым, надулся и с сердитым лицом вошел в наугольную, взглянул значительно на племянницу, посмотрел исподлобья на ее собеседника, толкнул ногой валявшийся окурок папиросы и, проговорив: «как здесь насорено», ушел опять в гостиную, где подошел к жене и прошептал ей что-то на ухо. Авдотья Егоровна отвечала ему самым добрым взглядом.

— Ничего, *mon ange*¹, — проговорила она.

Алексей Сергеич пожал плечами.

— Клянусь тебе честью — ничего!..

Алексей Сергеич опять пожал плечами и пошел.

— Alexis, — крикнула Авдотья Егоровна.

Alexis обернулся.

— Пожалуйста сюда.

Alexis подошел.

— Не извольте дуться: я этого не люблю и приказываю вам мне улыбнуться, а сердитым не уходить, — проговорила т-те Ухмырева, протягивая мужу руку, которую тот поцеловал; но все-таки ушел в кабинет насупившись.

Сальников, пройдясь по гостиной, вошел, как бы нечаянно, в наугольную.

— Вы здесь? — сказал он с приятною улыбкою, обращаясь к Вере.

— Здесь, — отвечала та, переглянувшись с Шамиловым.

Степан Гарасимыч сел.

— Какая сегодня погода ужасная! — начал он.

— Почему же ужасная? — спросил Шамилов.

— Дождик целый день, — отвечал Сальников. — Я полагаю, что и вы, Вера Павловна, тоже не любите ненастной погоды, — прибавил он, обращаясь к девушке.

— Напротив: я очень люблю осень.

— Все девицы обыкновенно любят хорошую погоду.

— Не знаю.

— В хорошую погоду можно гулять: но в ненастье, особенно дамы, принуждены бывают сидеть дома.

¹ Мой ангел (франц.).

— Я люблю сидеть дома.

— Но все-таки, *mademoiselle*, согласитесь, что в Петербурге все дамы в хорошую погоду всегда прогуливаются на Невском: когда я жил там, так часто наблюдал за этим, — и решительно в ясные дни все девицы гуляют.

— Я не жила в Петербурге.

Впоследствии мы успеем заметить, что Степан Гарасимыч любил ввернуть кстати словцо о Петербурге, о своей жизни там, и даже иногда говорил: «у нас, в Петербурге», а в припадке любезности употреблял иногда и французские слова, которых он знал ровно четыре: *madame*, *mademoiselle*, *pardou* и *merci*, считая в простоте сердца за самый высший тон спрашивание о здоровье, о погоде и о том, как проводится время.

— Видали ли вы, Петр Александрыч, Фанни Эльслер? ¹ — отнеслась Вера к Шамилову.

— Тысячу раз, — отвечал тот.

— Действительно ли она так хороша, как о ней пишут?

— Выше всяких слов. В каждой позе ее вы видите античную статую; в продолжение целого балета она не устанет, не утомится, не позволит себе ни разу выйти из своей роли. Глядя на нее, вы уже не видите ничего — ни декораций, ни кордебалета, и даже не слышите музыки: все это совершенно лишнее при ней.

— Вы недавно из Петербурга? — спросил Степан Гарасимыч.

— Недавно-с, — отвечал нехотя Шамилов.

— Играют там нынче «Аскольдову могилу»? ²

— Я думаю...

— Какая прекрасная пьеса! Изволите ли помнить, когда этот мужик, что ли, какой, али дворовый человек поет эту песню «Веет ветерок», так даже сердце замирает; и актер, который играл, отличнейший... Я никогда не слыхал такого прекрасного голоса; вот между простолюдинами есть тоже отличные голоса, но нет, не могут сравниться. Я сам также играю на флейте и пою русские песни, — но, признаюсь, пришел в восторг.

¹ Фанни Эльслер (1810—1874) — балерина, выступавшая в России с большим успехом в сезон 1841/1842 года.

² «Аскольдова могила» — опера А. Н. Верстовского (1799—1862), написанная на либретто М. Н. Загоскина.

— Вы только и видали одну «Аскольдову могилу»? — спросила Вера.

— О, нет-с! я несколько пьес видел: тогда немцы все играли, тоже очень хорошо.

— Вы говорите по-немецки? — спросил Шамилов, закуривая папиросу.

Степан Гарасимыч несколько замялся.

— Да-с... как вам сказать... нет, нынче совершенно забыл.

— Что же вам за удовольствие было сидеть на немецких операх, когда вы не знаете языка?

— Да что же? это ничего! слов не слышать, а делают все они так же, как и мы, совершенно по-русски.

— Неужели? — проговорил Шамилов и захохотал.

Вера Павловна тоже не могла удержаться.

— Я, впрочем, всего три раза был: так, может быть, не заметил, — подхватил Степан Гарасимыч.

Вошла Авдотья Егоровна.

— *Chère Vèra*, что же вы, ангел мой, не танцуете? — сказала она, подходя к племяннице, беря ее за руку и целуя. — Вы не удивляйтесь, господа, — прибавила она, обращаясь к молодым людям, — я влюблена в эту девушку.

Шамилов молчал.

— Вера Павловна сами, вероятно, в вас влюблены, — заметил Степан Гарасимыч.

— Нет, она меньше меня любит... Танцуйте, милочка моя!

— Я готова, *ma tante*,¹ но кому же танцевать? — сказала Вера, вставая.

— Там барышни, *mon ange*, дожидаются; ты, как хозяйка, затей; кавалеры есть: *monsieur Сальников et vous, monsieur, j'espère que vous serez si aimable de danser ce soir*², — отнеслась она к Шамилову.

Тот поклонился.

— Как сегодня насчет кавалеров неприятно расстроилось, — продолжала хозяйка, — наш молодец улан куда-то пропал, милейший доктор решительно отказался сегодня, а бедный Мишель страдает флюсом.

¹ Тетенька (франц.).

² Надеюсь, сударь, что вы будете так любезны и станете танцевать этот вечер (франц.).

— Это значит-с, нашего полка убыло, — сострил Степан Гарасимыч.

— Да, — отвечала Авдотья Егоровна. — Я пойду попрошу милую Катерину Петровну сыграть французскую кадрили. Ах, какая она добрая! в прошлый четверг была так обязательна, что почти целый вечер играла одна; я думала, что на другой день она будет без рук, — проговорила ласковая Авдотья Егоровна и ушла.

— Танцуйте и спасите меня от этого господина, — сказала Вера по-французски Шамилову.

Тот, конечно, тотчас же пригласил ее и пригласил по-русски.

У Степана Гарасимыча вытянулось лицо.

— Как я несчастлив! — сказал он.

— Чем? — спросила Вера.

— Лишился счастья с вами танцевать.

— Дам много.

— Да, это правда; но я...

Вера ушла.

Кадриль составила в четыре пары. Степан Гарасимыч танцевал с Софи Моросенко и каждый раз, встречаясь с Верой, улыбался ей, но, впрочем, был очень любезен и с своею дамою.

— Вы любите танцы? — спросил он ее.

— Люблю.

— Девушки, впрочем, все охотницы танцевать.

— И кавалеры тоже любят.

— Да-с; но кавалеры хуже танцуют.

— Отчего же хуже? Monsieur Карелин прекрасно галопирует.

— Это правда, я с вами согласен; но это, вероятно, оттого, что они в военном платье.

— Вовсе нет. Он очень ловок.

— Как я благодарен здешним дамам, — продолжал Степан Гарасимыч.

— За что?

— Прошлый раз они меня выучили гротфатер.

— А вы разве его не танцевали?

— Нет-с, я признаюсь откровенно, что еще не очень ловкий тансёр, хоть и люблю танцы... Pardon, mademoiselle, как я пред вами виноват! — произнес он вдруг.

Девушка посмотрела на него с удивлением.

— Что такое? — спросила она.

— Я был так неловок, что выбрал место около печки: в танцах и без того жарко; но здесь, я сам чувствую, что я весь вспотел.

Софи Моросенко покраснела как маков цвет и уже решительно не в состоянии была более говорить со своим кавалером. Совершенно другой разговор происходил между Верою и Шамиловым, который, впрочем, был не в духе.

— Ах, как я рада, monsieur Шамилов, что с вами встретилась... — говорила Вера. — Будемте друзьями, будемте передавать друг другу наши мысли, чувства, — все, что на ум придет. Мне тоже, как и вам, скучно и неловко здесь... Тяжело жить без отца, без матери, и в чужом еще доме!

— Но ваши родные так вас любят?

— Да, они меня любят; мне даже совестно, как они меня любят. Тетка моя очень добра, дядя тоже добр; но они с такими странными понятиями, так странно думают и заботятся о моей судьбе, что... — Вера не закончила.

— За что ваш дядя меня ненавидит, или, лучше сказать, презирает меня с ног до головы?

— Это неправда... из чего вы заметили?

— Из всего! он только что не выгоняет меня!

— Нет, это так: он такой чудак. Впрочем, тут другие есть причины.

— А именно?

— Неужели вы не догадываетесь, что это за меня? — произнесла Вера.

Кадриль кончилась. Шамилов поклонился своей даме и стал в дверях. Вторая кадриль началась очень скоро. Приехал улан Карелин, молодцеватый и стройный мужчина, и подошел было к Вере Павловне просить ее на кадриль, но она уже была ангажирована Степаном Гарасимычем. Сальников не замедлил начать с нею разговор.

— Я был так несчастлив, но теперь вознагражден, — сказал он.

Вера ничего не отвечала.

— Вы любите летом жить в деревне? — продолжал Степан Гарасимыч.

— Мне жить везде все равно.

— Но вы, вероятно, были в усадьбах вашего дяденьки?

— Нет, не была.

— У Алексея Сергеича так много прекрасных усадеб. Они, вероятно, показывали их вам?

— Я не видала ни одной.

— Я сосед по деревне вашего дяденьки; у них очень хорошие усадьбы, главное — покосы отличные... но, может быть, вы больше занимаетесь книгами и музыкой — хозяйства не любите?

— Мне негде хозяйничать: у меня ничего нет.

— Как смешно Арина Васильевна танцует, — сказал Сальников, указывая глазами на Ирину Шмакову, с явным желанием поострить на ее счет.

— Это с чего вам показалось? она очень мила, — сказала Вера.

— Нет, вы им льстите. Может быть, оне у себя дома милы, но при вас, я полагаю... — начал было Степан Гарасимыч, но не кончил, потому что Вера совершенно отвернулась от него и начала смотреть на Шамилова, который в раздумье стоял еще на прежнем месте.

За кадрилию последовал галоп. Улан явился во всем блеске; он мастерски и неумоимо танцевал этот бойкий танец. Начал он с Верою. Приятно было видеть их в паре, хотя молодая девица и танцевала не с большою охотою и несколько небрежно; но в то же время она была неимоверно грациозна и чрезвычайно легко следовала за своим кавалером. Окончив галоп, Вера Павловна тотчас села около Шамилова.

— Где вы? — спросила она.

— Я засмотрелся на вас, хоть и не желал бы, чтоб вы танцевали.

— Отчего?

— Так: это слишком обыкновенно, а вы женщина необыкновенная.

— Пойдемте галоп...

— Я? но я сто лет его не танцевал.

— Я хочу.

Шамилов подал руку Вере и начал.

— Bravo, monsieur Шамилов, и вы? — произнесла игрившая на фортепьяно Катерина Петровна.

Шамилов прогалопировал тоже очень ловко и если не лучше, то по крайней мере не хуже улана; но, впрочем, сей последний свое искусство и ловкость окончательно доказал, танцуя с другими девицами. Он сумел

примениться к манере каждой из них, хоть эти манеры и были довольно разнообразны, и, наконец, тех, которые были уж чересчур тяжелы на ногу, он просто носил на руках, и выходило недурно. Возгорелось сердце и у Степана Гарасимыча, и ему захотелось тоже протанцевать. Он пригласил было первоначально Веру, но та объявила, что устала, и решительно отказалась. М-г Сальников взял Ирин Шмакову и пошел. К несчастью, ноги молодого человека, вероятно не привыкшие к галопу, начали выделять такие удивительные штуки, что он чуть-чуть не уронил свою даму, и в заключение всего изорвал ее платье и наступил ей на ногу, и наступил так больно, что девушка вскрикнула, почти насильно вырвалась у него из рук и со слезами на глазах села на свое место. Улан засмеялся во всеуслышание.

— Каково отхватывает! — отнесся он к Шамилову. — Его надобно еще года два на корде гонять.

Степан Гарасимыч немного растерялся и не совсем еще пришел в себя, как был вызван в лакейскую: Аркаша принес ему флейту. Возвратясь в залу с инструментом, он начал глазами искать хозяйку, которая и сама тотчас его заметила.

— Как вы добры, Степан Гарасимыч! — сказала она. — Это ваша флейта? *Madames, monsieur Salnicoff va nous procurer le plaisir de l'entendre jouer de la flûte*¹.

— Еще новость! — произнесла Катерина Петровна.

— Что прикажете? — отнесся музыкант к хозяйке и девицам.

— Что-нибудь, что вы сами любите по преимуществу, — произнесла первая.

— Я не смею играть русские песни, а выберу лучше что-нибудь из иностранного, — проговорил Степан Гарасимыч и начал играть вальс-казак...

Нет, почтенный читатель мой, здесь я кидаю мое перо: мне совестно передавать вам то неблагоприятное впечатление, которое произвела на общество игра избранного мною героя, или, лучше сказать, не столько игра его, которая, конечно, была далеко не совершенна и с значительными ошибками, сколько самая физиономия. Представьте себе: довольно полные щеки молодого

¹ Сударыни, господин Сальников сейчас доставит нам удовольствие своей игрой на флейте (франц.).

человека еще более раздулись, лицо еще более покраснело, и, наконец, все это соединилось с выражением его глаз, которые сделались очень похожими на глаза убитого телянка. Некоторые легкомысленные девицы потихоньку засмеялись, но прочие дамы просто не в состоянии были его видеть. К числу последних, кажется, принадлежала и сама хозяйка; в первую минуту она совершенно растерялась; потом ей, кажется, хотелось как бы нибудь вывести своего protégé из того щекотливого положения, в которое он сам себя поставил, и, наконец, она решительно уже не могла его видеть и отвернулась. Впоследствии добрая Авдотья Егоровна, несмотря на свою скромность, рассказывала, что она просила Степана Гарасимыча играть, никак не предполагая, что он так фальшиво исполнял и — еще хуже того — имел при этом случае такую неприятную нájурность.

— Ах ты, шут гороховый! Он, верно, в пастухах был, — проговорил улан Шамилову. — Monsieur, а monsieur Salnicoff, — продолжал он, обращаясь к Степану Гарасимычу, — не умеете ли вы: «Пастух выйдет на лужок, заиграет во рожок»? Это отличная песня. Вы должны ее хорошо играть.

— Мерсі, мерсі, Степан Гарасимыч, вы устали, — перебила хозяйка.

— Помилуйте, ничего-с; дома я больше играю, — отвечал Степochка.

— Он и петь умеет, — шепнул Шамилов улану.

— Будто?.. Мы его сейчас заставим! Степан Гарасимыч! дамы желают, чтобы вы спели что-нибудь, — сказал он.

Авдотья Егоровна обратила на улана умоляющий взор.

— Нам очень приятно будет слышать, как поет monsieur Salnicoff, — заметила Вера.

Молодой человек, услышав эти льстивые слова, произнесенные очаровательным для него голосом, пришел в совершенный восторг.

— Я не пою, помилуйте... сами согласитесь... петь в таком обществе, — говорил он.

— Спойте, пожалуйста, — повторила Вера Павловна.

Авдотья Егоровна взглянула на племянницу с упреком.

— Начинайте! Мужчине робеть не к лицу, — проговорил улан.

— Если уж это так угодно дамам, то я не смею не повиноваться, и извиняюсь, что пою только русские песни, — произнес музыкант; откашлянулся и запел:

При долинушке стояла,
Калину ломала...

Голос его и метода были довольно оригинальны. Он начал самой тоненькой фистулой, а потом вдруг переходил на бас.

Улан ему захлопал в ладоши; Шамилов ушел в наугольную; Алексей Сергеич, появившийся в дверях кабинета, качал жене головой. Авдотья Егоровна предприняла решительное средство: она села сама за рояль и начала играть французскую кадрили, пригласив гостей танцевать.

— Уже танцевать? — произнес вдруг остановленный Степочка и, видно, не уразумевши хорошенько тактику хозяйки, как ни в чем не бывало отправился приглашать даму. Далее затем вечер одушевился. Сначала приехал умный Мишель, с подвязанной щекой, который, несмотря на болезнь, не в состоянии был просидеть дома, а наконец, явился и любезный доктор. Составилась мазурка. Степан Гарасимыч опять подлетел было приглашать Веру, но она уже танцевала с Шамиловым. В этом танце герой мой тоже несколько раз был поставлен в довольно неприятное положение; так, например, в одной фигуре, подобно другим, он вышел на середину залы и проговорил: «горю, горю на камешке: кто меня любит, тот меня выкупит». Но, увы! — его вероятно, никто из девиц не любил, потому что никто не подошел к нему. Улан простер было свою дерзость до того, что хотел послать к нему выглядывающую из дверей горничную; но добрейшая Авдотья Егоровна и тут поспешила на помощь к молодому человеку и выкупила его; к ней, конечно, тотчас же все кинулись на выкуп. Очень также Степан Гарасимыч сплошал при выборе качеств. Тот же злодей улан, взявши двух дам, подошел к нему и спросил: *L'amour ou l'espréance?*¹

Степан Гарасимыч, как мы знаем, мало знакомый со звуками французского языка, затруднился и переспросил.

¹ Любовь или надежда? (франц.)

Карелин опять повторил по-французски.

— Пиранс, — бухнул Сальников на авось.

— Как он жалок, — проговорила Вера Шамилову.

— У кого спокойно в ухе спят насмешки, тот дурак, — отвечал тот.

— Конечно. Но он, должно быть, добрый; иногда мне он бывает скучен и несносен, но чаще жалок.

— Честь делает вашему сердцу, но никак не ему.

— Мне кажется, что он все чувствует и понимает, но не сердится, потому что добр.

За мазуркою следовал гротфатер. Степан Гарасимыч, должно быть, действительно, как заметила Вера Павловна, был доброго характера, потому что после всех его промахов и насмешек на его счет он очень скоро поправлялся и через минуту же делался веселым и беззаботным. В гротфатере, танцуя с предметом своей страсти, то есть с Верою, он до того одушевился и расшалился, что начал не только бегать, но прискакивать. Доктор и улан не утерпели и сыграли с ним новую шутку. В фигуре перепрыгивания через платок они так нечаянно и так высоко подняли платок, что он, конечно, запнулся и растянулся на полу и в первую минуту хотел, кажется, рассердиться, но увидевши, что все смеются, и сам захохотал.

Все эти маленькие неприятности, испытанные моим героем в танцах, были окончательно изглажены исключительным вниманием, которое адресовал к нему хозяин за ужином. Он посадил его около себя и беспрестанно потчевал. Шамилов тоже сидел невдалеке; но Алексей Сергеич не обращал на него ни малейшего внимания и, кажется, с умыслом распорядился в подавании кушанья таким образом, что ему приходилось брать последнему; около него не стояло даже ни рюмки, ни стакана, но хозяин как будто бы и не замечал этого. Зато Петр Александрыч был вознагражден вниманием с другой стороны, и вниманием, конечно, более для него лестным. Вера Павловна, как это заметили все, целый ужин не спускала с него глаз.

— *Desirez-vous du vin?*¹ — сказала она, подвигая к нему бутылку с лафитом и стакан.

¹ Не хотите ли вина? (франц.).

Шамилов налил, взглянул на нее значительно и, проговоря: «Votre santé»¹ — выпил стакан залпом.

Алексей Сергеич, заметив это, нахмурился и взглянул тоже значительно на жену, которая ему улыбнулась. Во время этого полумимического разговора между главными лицами моего рассказа развязный доктор любезничал с Ирин и Софи. Он отнимал у них квас, говоря, что это им вредно, кидал в них хлебными шариками и, наконец, показывал им что-то такое жестами, от чего обе девицы смеялись. Улан занимался с Катериной Петровной. В половине ужина Шамилов разговорился с доктором, и заговорили они нечто о медицине.

— Знаете ли вы новую теорию Либиха?² — сказал Шамилов.

— Новую теорию? — спросил полушутливым тоном доктор, — нет, не знаю; а я вот вижу по глазам, ее знают Ирина Васильевна и Софья Николаевна: барышни обыкновенно знают все теории, — прибавил он, указывая на двух девушек.

Шамилов замолчал.

— Он врач? — спросил доктор.

— Кто-с?

— Этот ученый, о котором вы говорили.

— Либих? не знаю. Он известен как великий физиолог.

— А, физиолог? это очень хорошо. Физиология прекрасная наука... Сделайте милость, барышни, не смейтесь над нами; мы уверены, что вы знаете все науки лучше нас... Что же он такое сочинил? — говорил доктор, обращаясь то к Ирин и Софи, то к Шамилову.

— А вам любопытно знать? — спросил тот.

— Очень, — отвечал доктор. — Ах, боже мой, — продолжал он жалобным голосом: — вот что значит жить в провинции! столичные люди думают, что нас уже ничто и не интересует.

— Либих-с сделал смелый шаг, — перебил Шамилов, — он физиологию окончательно сблизил с органической химиею.

— Неужели? это превосходно! — воскликнул доктор.

¹ Ваше здоровье (франц.)

² Либих Юстус (1803—1873) — немецкий химик и физиолог.

— Угодно вам знать некоторые подробности этой теории?

— Сделайте милость, — отвечал врач каким-то двусмысленным тоном: видимо, что во всей этой сцене он подтрунивал над молодым человеком. — Сделайте милость, — повторил он.

— Она очень проста, — отвечал Шамилов, — Либих процесс пищеварения подвел под законы брожения и в результате получил составные элементы организма: фибрин, белковину и прочее.

— Это очень хорошо! бесподобно! — воскликнул доктор опять с какою-то странною улыбкою.

— Все это глупости! — произнес вдруг Алексей Сергеич во всеуслышание.

Шамилов посмотрел на него.

— Что такое глупости? — спросил он.

— Все, что вы ни говорили, все это глупости, — отвечал хозяин.

Доктор захохотал.

— Какой скептик: все отрицает!

Шамилов ничего не отвечал и только улыбнулся.

— Все это плутовство и обман, чтобы деньги у нас выманить, — прибавил Алексей Сергеич.

Шамилов и доктор замолчали; последний опять начал шутить с барышнями. На сцену вышел Степан Гарасимыч: он отнесся, через весь стол, к Катерине Петровне.

— Вам, Катерина Петровна, не угодно было со мной сегодня танцевать, — сказал он.

— Вы меня сами не удостоили этой чести, — отвечала молодая дама.

— Я не смел-с: вы все занимались музыкой.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь! мы все очень хорошо знаем, что вы ветреник, за всеми ухаживаете, и потому я вам не верю.

— Совершенно несправедливый укор! Конечно, я уважаю равно как девиц, так и дам, но...

— Но вы всего больше любите танцы и свою флейту, а над женщинами смеетесь и способны только увлекать и обманывать нас, несчастных.

Лицо Степана Гарасимыча просияло от удовольствия.

— Вы все на меня сегодня нападаете, — произнес он жеманно.

— Где вы галопу-то выучились? — спросил улан: — в Петербурге или здесь?

— В Петербурге, — отвечал Степочка.

— Стало быть, вы там много танцевали?

— Я думаю, больше, чем в здешних местах.

— Где же это вы там танцевали?

— У дяди; у них каждую субботу были великолепные вечера; но, впрочем, по-моему, танцевать немного, но с теми, с кем желаешь, приятнее самых больших танцев, — проговорил Степан Гарасимыч и при последних словах взглянул на Веру и хотел было еще что-то говорить, но ужин кончился.

Хозяин был так к нему внимателен, что сам наложил ему трубку и, узнав, что он пришел пешком, тотчас же велел заложить для него лошадь.

Шамилов стоял около Веры со шляпою.

— Когда мы увидимся? — спросила она.

— Не знаю. Здесь бывать я более не могу.

— Ничего! Приезжайте послезавтра.

— Нет-с: не могу.

— Пришлите мне по крайней мере то, что у вас написано о Гамлете: я умираю со скуки.

— С большим удовольствием; но каким образом?

— Я пришлю к вам мою девушку: отдайте ей.

— Bien... Adieu¹.

— Bonne nuit!²

Молодые люди расстались. Степан Гарасимыч, выкурив трубку, искал было Веру, чтоб проститься с нею, но она уже ушла в свою комнату. Алексей Сергеич проводил его до передней.

III

Я еще прежде говорил, что Степан Гарасимыч при всей благоразумной расчетливости и при всем своем во многих отношениях скромном поведении был влюбчив. В этом случае он как будто бы изменял самому себе. Из предыдущих сцен, вероятно, и сам читатель заметил, что в настоящее время молодой человек интересовался Верой Павловной; но я скажу еще более: он был в нее

¹ Хорошо... До свиданья (франц.).

² Доброй ночи (франц.).

влюблен без ума и питал в сердце непреклонное намерение жениться на ней. Объясняя маменьке в письме, что думает прежде разузнать о состоянии молодой девицы и действовать в этом случае благоразумно, он говорил неправду, или по крайней мере это была одна только мечта; но в самом деле, как я убежден, он готов был с нею идти под венец хоть сейчас же и взять ее что называется в одном только платье, готов был даже для этого счастья истратить весь свой капитал и продать некоторые из своих брильянтовых и золотых вещей. Вера Павловна овладела его сердцем мгновенно при первом свидании, и я решительно затрудняюсь объяснить это обстоятельство: каким образом, почему и чем именно понравилась ему Вера.

Возвратясь с вечера, влюбленный молодой человек был очень рассержен заспавшимся Аркашкой, который, вместо того чтобы подать барину огня и раздеть его, начал метаться из угла в угол, бормотать какую-то чепуху и, в заключение всего уйдя в лакейскую, сунулся на залавок и захрапел. Мальчишка этот имел одну очень характеристическую черту: он обыкновенно с закатом солнца начинал почти что замирать, и в осенние и зимние вечера вызвать его к бодрствованию было делом невероятной трудности. В настоящем случае Аркашка заспался совершенно; напрасно Степан Гарасимыч будил его различными способами, — мальчишка открывал только на время глаза, но никак не мог возвратиться к полному самосознанию. Степан Гарасимыч, наконец, вышел из себя, плюнул и отступился. Раздевшись собственноручно и уложив бережно свой туалет, он лег, но не спал, а мечтал о Вере. Мечтания его зашли очень далеко: он воображал, что Вера Павловна уж его жена, что в приданое за ней дано триста душ, что в этих трехстах душах должно быть непременно полтора-раста тягол: он собирает с них оброки, из которых одна треть проживается, а прочее идет к приращению капитала. Он мечтал, как молоденькая жена будет поить его чаем и как на именины добрый и богатый дяденька Алексей Сергеич подарит ему бронзовые часы, которые стояли у него в гостиной и которые очень нравились Степану Гарасимычу. Много, очень много еще и другого передумал молодой человек и, наконец, заснул. Поутру постигла его маленькая неприятность: Аксинья с плачем и воплем

доложила, что в погребе запасу держать нельзя, потому что крысы съели почти всю солонину и прогрызли, негодные, два мешка с мукою. Известие это обеспокоило Степана Гарасимыча. Побранив Аксинью, он сам отправился в погреб и при собственных глазах весь запас велел привесить к потолку. Обедать себе не велел ничего готовить и начал придумывать, под каким бы предлогом отправиться ему к Алексею Сергеичу поутру — отобедать там и даже, если возможно, то и отужинать. «Скажу я, — придумал он, наконец, — что получил от маменьки письмо, в котором она велит Алексею Сергеичу кланяться, а у Авдотьи Егоровны поцеловать ручку».

Затем утро пошло своим порядком. Пришел портной из мещан, по имени Ермоген, а по прозвищу Безухой, осмотрел присланный Степану Гарасимычу от маменьки сюртук папенькин и, объявив, что из этой штуки фрак выйдет и что сукно еще хорошо и нынче, надо полагать, рублей от шести идет, заломил за работу десять рублей ассигнациями. Степан Гарасимыч, не согласившись, чтобы сукно стоило только шесть рублей, отозвался очень дурно о нынешних сукнах, говоря, что они только хороши на вид, но прочности никакой не имеют, с чем согласился и портной. О цене за работу они, само собой разумеется, спорили очень долго. Степочка, как пять пальцев, рассчитал, что Безухому за глаза довольно взять семь рублей.

— Семь рублей, барин, нынче за мужицкую поддевку берут, — возразил портной.

Но барин опять, как дважды два четыре, доказал ему, что в поддевке гораздо больше шитья, чем во фраке. Наконец, они помирились на восьми рублях. Очень хотелось также Степочке, чтобы фрак его был сшит на манер визитного полуфрака Шамилова; но Ермоген отказался шить по этому фасону, утверждая, что эта мода нехороша и что он лучше сошьет по другой, самой моднейшей, по которой он уж и сшил одному чиновнику из уездного суда фрак. Отдавая сюртук, Сальников поинтересовался узнать, сколько от него будет остатков сукна.

Портной, прикинув пальцем, сказал, что в остатке будут воротник и обшлага, так как они были уж очень засалены, да два клина.

— Ты мне принеси эти остаточки: мне нужно починить одну вещь, — сказал Степан Гарасимыч.

По уходе портного молодой человек, причесав очень старательно свои волосы и надев свой отороченный плисом халат, закурил трубку, сел у окна и обратил свои мысли к предмету своей любви. У ворот показался серый в яблоках жеребец, запряженный в щегольские пролетки на лежачих рессорах. Приехал Алексей Сергеич. Степан Гарасимыч был удивлен и обрадован, потому что Ухмырев, как мы знаем и как известно было всем его знакомым, делал визиты весьма редко, то есть только в большие праздники, и то по выбору. Подобное же экстренное посещение могло служить явным доказательством его особого расположения. Алексей Сергеич вошел, ссхраня свое собственное достоинство, но в то же время пожал хозяину руку с величайшим радушием и поцеловал его, прося покорнейше не переменять костюма и оставаться в том *pegligé*, в котором он его застал. Степан Гарасимыч нашелся выразить свое приветствие гостю только тем, что предложил ему свою только что закуренную трубку; но Алексей Сергеич отказался от трубки и, вынув из серебряного *porte-cigare* гаванскую сигару, просил одолжить его огнем. Наконец, гость и хозяин уселись, и на некоторое время последовала между ними молчаливая, но в высшей степени умилительная сцена. Они по крайней мере четверть часа смотрели друг на друга так нежно, как будто были или самые близкие родственники, или по крайней мере закадычные, лет десять не выдавшиеся друзья.

— Хорошо изволили почивать? — заговорил Степан Гарасимыч.

— С вечера хорошо, но на утре желудок беспокоил.

— Я тоже-с... молодые люди, впрочем, обыкновенно не спят после вечеров... Вера Павловна уж проснулись?

— Должно быть. Я не видал еще ее.

— Который им год-с?

— Кому?

— Вере Павловне.

— Она молода.

— Какая она прекрасная девица!

Алексей Сергеич с приятною улыбкою наклонил голову.

— Вы, вероятно, желаете их выдать замуж?

Алексей Сергеич развел руками и проговорил:

— Это зависит от партии. Если представится партия, конечно...

— У них есть состояние? богаты оне-с? — спросил Степан Гарасимыч, набивая себе новую трубку.

Этот вопрос несколько удивил Алексея Сергеича: он многозначительно пожал плечами.

— У ней есть состояние, потому что я его имею, — отвечал он, подумав.

— Я сам очень желал бы составить себе партию, — произнес Степан Гарасимыч.

Алексей Сергеич посмотрел на него.

— Вы думаете жениться? — спросил он.

— Очень бы желал.

— У вас невесты будут; но надобно иметь в виду хорошее семейство. Так?

— Да-с. Я уж имею в виду одну девушку.

Алексей Сергеич ничего не отвечал.

— Она вам знакома-с, — продолжал Степан Гарасимыч.

— Мне?..

— Я говорю про Веру Павловну, — отрезал Степан Гарасимыч, но, впрочем, немного сконфузился и более обыкновенного покраснел.

Что же касается до Алексея Сергеича, то и он также покраснел и соображал приличный ответ.

— Может быть, я не буду иметь счастья понравиться Вере Павловне? — продолжал молодой человек.

Алексей Сергеич опять сильно пожал плечами и сделал значительную физиономию.

— За других, Степан Гарасимыч, говорить, конечно, трудно, — начал он, — но, по-моему, ничего бы не могло быть лучше. Я дядя, а не отец: я не могу тут действовать так, как бы должно... Так?

— Вера Павловна, вероятно, послушают вас.

— Так-с, хорошо, прекрасно... но она живет у меня в доме, мне настаивать неловко, — не правда ли? С моей стороны для вас все... понимаете? но тут есть другая сторона. Так?

Я еще прежде замечал, что Алексей Сергеич не был боек на язык и имел только некоторый навык поддерживать общественный разговор, но в важных случаях, в минуты душевного волнения, он совершенно терял дар

слова и выражался больше вопросами и какими-то неправильными фразами.

— Я замечал, что Вера Павловна благосклонны ко мне.

— Бесподобно-с! Но лично про меня будемте судить. Я в этом деле только могу тон давать. Согласны вы с этим? так?

Степан Гарасимыч открыл было рот.

— Постойте, — перебил Алексей Сергеич, — я буду говорить еще. У меня есть жена, а ее родная тетка... согласны? Тетка теперь и должна на нее действовать, а я буду действовать на тетку... понимаете?

Степочка кивнул головою.

Алексей Сергеич, думая, вероятно, что Степочка в самом деле уразумел его слова, продолжал:

— По моему расчету, все это должно сойтись в одном центре, потому что с той и другой стороны будет вам рука. Так?..

— Вы, может быть, самому позволите мне объясниться с Верой Павловной?

— Убереги вас бог! — перебил его торопливо Ухмырев. — Тут только время будет свое выигрывать. Мы, мужчины, видим предмет так, как он есть, — прямо, а женщины представляют его себе навыворот. В этом деле мы будем давать тон, а время свое сделает!

В дальнейшей беседе Степан Гарасимыч начинал еще несколько раз разговор об этом предмете, потому что из всех предыдущих речей Алексея Сергеича он весьма нехорошо понял, что хотел тот сказать; но Ухмырев на все его вопросы отвечал: «время — и больше ничего». При прощании Степан Гарасимыч, по свойственной ему наивности, объяснил, что он сегодня желает прийти поутру к ним на целый день, но совестится. На это Алексей Сергеич сказал, что, думая таким образом, он крайне его обижает, и просил его ходить к ним, не стесняясь, каждый день, и пробывать у них с утра до поздней ночи, что даже, по его мнению, это было необходимо при настоящем стечении обстоятельств.

По отъезде гостя Сальников пришел в неописанный восторг: набивши без всякой осторожности трубку, он даже не запер свою табачницу и начал насвистывать и выделывать ногами какой-то танец, несколько похожий на галоп, затем схватил мальчика своего, перевернул его

несколько раз, проговоря: «Что ты не вертишься?» — а потом послал его, чтобы он позвал мать. Аксинья явилась.

— Поди сюда, Аксинья: я тебе одну штучку скажу.

— Что, батюшка?

— Дело с барышней на мази.

— Слава те господи! Маменьке изволили писать?

— Напишу. Ты только не болтай никому.

— Ай, нет, батюшка! никогда за мной этого не бывало.

— Кузьме, главное, не говори, а то он в кабаке, пожалуй, разболтает.

— Ой, что это! стану ли я с этим разбойником говорить! мы с ним все ругаемся, что вот ни приехала сюда, все ругаемся! молодец вы, батюшка, у нас родились, — продолжала Аксинья с чувством, — мы вот и промеж собой все говорим: «Экой у нас барин-то красавец!»

— Теперь еще ничего. А вот я себе платье новое сошью, так ты тут посмотри!..

— Ну, батюшка, коли милость будет, так посмотрю, а нет, так и так живу.

В два часа Степан Гарасимыч, прифрантившись как следует, отправился к Ухмыревым на целый день.

Алексей Сергеич приехал домой с весьма глубокомысленным видом. Кому не известно, что большая часть людей любит объявлять претензии именно на то, чего у них нет; так, например, некоторые толстяки — на грацию, школьники — на ученость, губернские дамы — на высший тон. В Алексее Сергеиче тоже была эта слабость: он считал себя очень умным и, еще более того, необыкновенно тонким человеком. Политика его, впрочем, была такого рода: снискивая расположение важных лиц, он никогда не лез им прямо в глаза, но первоначально действовал всегда стороной и устраивал дело таким образом, что или камердинер важного человека, одевая его поутру, или кто-нибудь из хороших знакомых первоначально расскажет о нем в таком тоне, что есть-де некто прекрасный и очень богатый человек Алексей Сергеич, который живет решительно на столичный тон, и знакомство с ним может всякому доставить огромное удовольствие. Встречаясь на вечере с каким-нибудь господином, от которого желал заслужить внимание, он за первый

долг поставлял себе проиграть тому рублей полтора или двести серебром в карты и рассчитаться с самым веселым духом. В отношении жены, в важных случаях, он тоже действовал очень тонко и никогда своего желания не высказывал прямо, а по обыкновению нахмурился и начинал ходить с задумчивым видом взад и вперед. Чувствительная Авдотья Егоровна, конечно, сейчас же замечала это и приступала к мужу с расспросами. После шестичасового, а иногда и более упорства супруг высказывал, чего хотел, и таким образом отказ был невозможен.

В предприятии своем выдать за Сальникова Веру Павловну он решился первоначально тонко действовать на жену, а через нее уж и на племянницу.

Авдотья Егоровна сидела в гостиной и пила утренний кофе. Алексей Сергеич вошел нахмуренный и сел.

— *Qu'avez-vous, cher Alexis?*¹ — спросила та. — Что с тобой, милый мой? — прибавила она.

Авдотья Егоровна, вероятно забывая, что супруг ее не говорил ни на одном иностранном языке, относилась к нему иногда по-французски, но, впрочем, тотчас и переводила.

Алексей Сергеич молчал.

— Ты болен, *Alexis*? — спросила с озабоченным видом супруга.

— Нет, — отвечал он, встал и начал ходить по комнате.

Авдотья Егоровна тоже встала и начала умолять, чтобы он ей сказал, что такое с ним. Борьба продолжалась около часу. М-те Ухмырева была уже близка к истерике (подобные объяснения с мужем всегда почти оканчивались для чувствительной дамы истерическими припадками). Наконец, Алексей Сергеич решил недоумение и открыл жене, что сейчас был у Сальникова и что тот сватается за Веру Павловну. Авдотья Егоровна еще более встревожилась и объявила, что решительно не имеет надежды, чтобы Вера Павловна пошла за молодого человека.

Алексей Сергеич опять насупился.

— Друг мой! меня тут одно беспокоит, одно тревожит, — проговорила Авдотья Егоровна грустным голо-

¹ Что с вами, дорогой Алексей? (*франц.*)

сом, — меня, не знаю как, ужасает разница их воспитания и разница даже ума... В последний вечер я внимательно за ним наблюдала: он очень прост и без всякого образования...

У доброй тетки показались на глазах слезы.

— Образование пройдет, а состояние останется; я устраиваю ее счастье, а не что-нибудь другое... Так ли? — возразил резко Алексей Сергеич.

— Так, совершенно так, мой друг! — отвечала супруга. — Неужели же, милый мой, я не понимаю твоего благородства? Ох, боже мой, я даже не знаю, чем и когда в состоянии буду возблагодарить тебя за твою любовь и великодушие к моим родным! Твои возвышенные чувства, cher Alexis, будут награждены не здесь, но там, на небесах!

Проговоря эти слова, Авдотья Егоровна вскрикнула вдруг: «Ах!» — и разрыдалась истерически. Алексей Сергеич по обыкновению кинулся в девичью и выслал на помощь барыне множество горничных, которые очень скоро и помогли ей; но сидеть она еще не могла, а полулежала на диване. Когда она открыла глаза, первым ее делом было взять мужа за руку, поцеловать эту руку и уставить на него самый нежный взор.

— Меня одно мирит с ним: мне кажется, он добрый, — проговорила она слабым голосом.

— Не извольте говорить: вас это беспокоит... Довольно... забудьте все... — прервал муж.

Авдотья Егоровна еще нежнее взглянула на него и крепко сжала его руку.

— Теперь ничего, — начала было она.

— Пощадите вы себя и меня! — перебил ее опять Алексей Сергеич.

— Ну, не буду, не буду, милый мой! — отвечала покорным голосом супруга и велела для подкрепления принести себе чашку бульону, с которым и скушала почти целый французский хлеб.

Между тем Вера Павловна сидела в своей комнате. Цвет лица ее в этот день был желтее обыкновенного, веки глаз распухли, губы запеклись: было видно, что она не спала всю ночь. Она смотрела в какую-то развернутую книгу, но не читала.

Взглянув на комнату молодой девушки, убранную роскошно и комфортабельно, приняв в расчет общую

молву о ее прекрасном туалете и сейчас только описанную мною между дядей и теткой сцену, смело, кажется, можно заключить, что родственники ничего не жалели для милой племянницы, любили ее по-своему и по-своему старались упрочить ее счастье. Алексей Сергеич полагал, что счастье ее непременно устроится, если она выйдет за человека, у которого по крайней мере, как, например, у Степочки, шестьсот душ; но Авдотья Егоровна желала, чтобы муж Веры с состоянием соединял и личные достоинства. Жениха с последними свойствами тщетно ожидали два года; но жених с шестьюстами душами явился и, сверх того, отличался еще добротой сердца. Все бы это было прекрасно, если бы не иначе смотрела на жизнь и на весь божий мир Вера Павловна. Что делать! по годам она была еще молода, а по характеру мечтательна; оставшись после матери по одному году, она развилась в кругу совершенно иных идей и убеждений, или, лучше сказать, получила странное и не совсем женское воспитание. Отец ее, — некогда мистик и масон и, вдобавок еще, нумизматик и ботаник, всю жизнь жил в Москве и прожил там все свое состояние. Первый вечер, на который Вера выехала с ним, был вечер собрания членов общества «оклиматизации животных».

Не понимая решительно прелести в белых газовых платьях, девушка очень хорошо чувствовала прелесть майской розы и даже знала, к какому эта роза классу, роду и виду принадлежит по системе Линнея¹. Не умея еще танцевать мазурки, она уже очень хорошо знала сонеты Петрарки². Я даже удивляюсь, каким образом моя героиня имела приятные манеры и очень легко танцевала. В этом случае, кажется, она более была обязана прекрасному своему телосложению, нежели учению. Без преувеличения смею уверить читателя, что семнадцати лет Вера Павловна прочитала всю отцовскую библиотеку, состоявшую почти из двух тысяч томов, — знала в совершенстве языки французский, немецкий, итальянский и английский; она даже знала — о ужас! — мате-

¹ Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, предложивший первую научную систему классификации растений и животных.

² Петрарка Франческо (1304—1374) — знаменитый итальянский поэт и гуманист.

матику, до конических сечений включительно; мужчину она воображала или художником, или ученым; ровно на осьмнадцатом году заговорило ее сердце: его затронул молодой профессор, только что воротившийся из-за границы. До сих пор Вера помнила это молодое, но уж солидное лицо, украшенное очками, к которому, сверх того, чрезвычайно шли отвороченные воротнички, его скромные и деликатные манеры, тихий и ровный голос. К концу года этой сильной, но молчаливой страсти профессор уехал в Петербург. О, как страдала Вера, как пустделался для нее кабинет папеньки, в котором она несколько раз видела и слушала его! Она с жадностью брала каждый номер журнала, думая встретить его статью или по крайней мере одно имя его, и, наконец, нашла в одном журнале его рассуждение на степень доктора: «О моллюсках». Несмотря на специальность предмета и на сухость изложения, она прочитала, или, лучше сказать, выучила все наизусть; но — боже мой! — какая страсть, и страсть ничем не поддерживаемая, может устоять против времени! Милый образ с белыми воротничками начал постепенно ослабевать в воображении девушки. Смерть отца, продажа всего имения, приезд тетки, переселение ее в уездный городок перенесли Веру в совершенно иную сферу. Я не могу описать того, как вначале молодая девушка была удивлена образом жизни, который вели дядя и тетка, как странны казались ей их знакомые и те разговоры, которые происходили в их гостиной во время утренних визитов: представьте себе, каждый день там разговаривали о погоде, или лошадях, или о каком-то Иване Петровиче, которого на днях ударил паралич. Молодые девицы говорили больше о нарядах, но никто даже и не заикнулся ни о ботанике, ни о живописи, а если некоторые молодые дамы и начинали говорить о какой-нибудь журнальной повести, то как-то очень странно и совершенно не так, как говорили об этих предметах в доме папеньки: некоторых героев или героинь называли хорошенькими, а других противными; вместо того чтобы сказать, что у такого-то автора много юмора, говорили, как он смешно пишет. Все вечера без исключения были посвящены картам. Вера никак не могла себе представить, каким образом ее умная и добрая тетенька может целый вечер с удовольствием заниматься такими пустяками, как вист или

преферанс. Однажды после обеда, когда у них никого не было, Авдотья Егоровна просила ее почитать ей что-нибудь вслух, но только веселое. Вера Павловна обрадовалась: она имела под руками превосходную вещь, а именно «Записки Пиквикского клуба»¹; но, к вящему удивлению ее, тетенька не только не смеялась, но на второй главе даже начала дремать.

Дядя тоже удивлял ее: получая все журналы, он исключительно интересовался одними только модными картинками и всегда почти приносил их к ней, говоря, что эдакое платье к ней шло бы, а такое-то нет. Авдотья Егоровна очень любила музыку и часто просила племянницу играть; но и здесь для Веры было очень странно, что тетенька решительно смешивала в голове музыку Моцарта² с простыми вальсами и даже предпочитала последние. Молодая девушка первоначально сосредоточилась сама в себе и обратилась к своим любимым занятиям. Целые дни она читала, рисовала, играла на фортепьяно и восхищалась из дядина сада природой, но и только: ей не с кем было поговорить, тогда как в уме роились тысячи мыслей, а в сердце... про сердце и говорить нечего: оно, преисполненное чувствами, билось как пташка в клетке. Вере начало становиться скучно, грустно и, наконец, невыразимо досадно на всех и на все, так что в одну бессонную ночь она нарисовала на дядю и на все общество карикатуру, которую, впрочем, на другой же день и изорвала. Просыпаясь, каждое утро она решительно не знала, как протянуть день. Обращение ее с дядей, теткой и с их гостями сделалось холодно и принужденно; у ней начала чаще и чаще болеть грудь. В одно утро Вера Павловна, одевшись нехотя во вновь сшитое платье, вышла в гостиную и, по обыкновению, села на свое любимое место у окна. Алексея Сергеича не было дома; Авдотья Егоровна раскладывала гранпасьянс. Лакей доложил о приезде какого-то Шамилова; Авдотья Егоровна начала что-то припоминать: «проси», — проговорила она. Вошел молодой человек. Хозяйка приветствовала его и объяснила, что очень хорошо знала

¹ «Записки Пиквикского клуба» — роман Чарльза Диккенса (1812—1870), переведенный на русский язык в 1838 году.

² Моцарт Вольфганг (1756—1791) — великий австрийский композитор.

его отца, который некогда лечил ее и спас от горячки. Вера Павловна, поклонившись молодому человеку, вся вспыхнула. Боже мой! этот гость очень походил на молодого профессора: то же умное выражение лица, тот же почти склад тела, та же прическа и, наконец, очки и воротнички, и только в манерах молодого человека было больше живости, и вообще он был очень развязан в обращении, потому что тотчас же объяснил, что намерен держать экзамен на ученую степень и приехал в провинцию, чтобы удобнее заняться науками. Вера, заметно сконфуженная, спросила о московском театре и поинтересовалась знать, что дают на нем. Гость, отвечая, что в ходу балеты, описал довольно живо обаятельное впечатление итальянской оперы, пересчитал несколько новых французских водевилей и очень много говорил об игре Мочалова¹ в «Отелло». Во всем этом разговоре Авдотья Егоровна не принимала почти никакого участия. Молодой человек, на первом утреннем визите, просидел часа три. Старшая хозяйка ужасно утомилась, и, когда гость уехал, она проговорила про себя: «Ах, какой говорун!» Перед обедом возвратился Алексей Сергеич. Авдотья Егоровна сказала ему, что у них был покойного лекаря Шамилова сын.

— Видел я его на вечере у Ягнетева: пустой человек! — решил Ухмырев.

— Да, кажется, — подтвердила Авдотья Егоровна, — впрочем, довольно боек и собою недурен.

— Нет, пустой! — повторил опять Алексей Сергеич.

Вера ни слова не сказала: она сдавила в груди овладевшую ею тоску, ушла к себе в комнату, где и просидела до самого обеда, за которым ничего не ела. Алексей Сергеич и Авдотья Егоровна, руководствуясь своею житейскою опытностью, может быть и основательно третируют таким образом нового знакомого, но совершенно иным показался он молодой девушке: он первый, который заговорил в ее такт, он первый, который так понравился ей своею наружностью, он первый, наконец, с которым она провела приятно три часа... и чем же он не показался ее родным? Эти люди, которые, повиди-

¹ Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — знаменитый русский актер.

мому, так ее любят, ни в чем в то же время не хотят сочувствовать ей.

— Бог с ними! — проговорила она, качая с грустью головою. — Я сирота, они меня призрели, кормят, одевают на свои деньги. Чего же я могу от них более требовать?

Надобно сказать, что Веру постоянно беспокоила мысль, что она тяготит родных, хотя это была совершенная неправда. Ухаживание Степочки Веру Павловну сместило бы, если бы она не понимала, что дядя держит его сторону; но, впрочем, об этом она немного думала и сказала себе один раз навсегда, что этому не бывать. Любовь к Шамилову, после каждого свидания, шла *crescendo*¹.

После описанного мною вечера она не спала всю ночь и по преимуществу страдала от того, что Шамилов был так жестоко оскорбляем в продолжение всего вечера ее дядей. Проснувшись поутру, она сейчас же послала к нему свою горничную с запиской:

«Пришлите мне вашу статью о «Гамлете», которую вы мне обещали. Когда мы с вами увидимся?»

На это послание статьи о «Гамлете» не было прислано, но зато получено было письмо, которое и решило окончательно участь молодой девушки.

«Я не могу прислать вам статью о «Гамлете», — писал Шамилов, — все это у меня так дурно переписано, что мне совестно представить на ваш суд. Ваш вопрос: «Когда мы увидимся?» — как-то страшно отозвался в моем сердце; целую ночь и целое утро сегодня меня мучит тревожное, но ясное предчувствие, что судьба снова вызовет меня из моей кельи на битву жизни, — битву, на которую я столько положил труда и столько проиграл. Боже мой! как я счастлив был эти два месяца! Нужно ли говорить, чем были для меня вы — несравненная женщина! Буду ли я скрывать внушенную мне вами любовь, в которой теперь заключается все мое бытие! Я не могу ни заниматься, ни думать: жизнь моя — вы. Посмотрите, как я глупо и смешно пишу, но выше самого себя быть нельзя. Я схватываю себя по временам за голову, щупаю свой пульс: мне кажется, что я не в своем уме. Неужели вас оторвут от меня? Я в жизни много утратил, много

¹ Быстро развивалась (*итал.*).

потерял! Но зачем же я снова был вызван к этой жизни, и кем был вызван? вами, до нравственной высоты которой не достигало даже никогда мое воображение! вы и другие женщины, вы и я, — что тут общего? О ваших чувствах я не спрашиваю: с меня достаточно будет одного с вашей стороны сострадания, а в этом не откажет мне ваше сердце, в котором целое море любви...

Вот какой бред посылаю вам, вместо моей рациональной статьи о «Гамлете»... О греческой трагедии на вечере я тоже вам солгал: я ее не пишу и не буду писать, потому что не знаю, будет ли у меня силы жить и дышать, если я не увижу вас сегодня или завтра.

Безумный *Шамилов*».

Может быть, и на вас, милые читательницы, произвело некоторое впечатление это пылкое послание молодого человека; но как же оно должно было подействовать на Веру Павловну? Последовавшая по прочтении его письма лихорадка служила только слабым выражением чувствований молодой девицы. Она тотчас же написала ему ответ:

«Любите меня, Шамилов. Без всякого ложного стыда и не краснея, я готова сказать как перед вами, так и перед целым светом, что быть вашей женой есть единственное мое желание. Знаете ли вы, что я бедна, что на мне даже платье чужое? Не думаю, чтобы мои родные согласились на наш брак; они — бог им судья! — думают иначе устроить мою участь. Про вас говорят, что вы тоже бедны. Я могу стеснить вас, и потому трудитесь, учитесь, пишите — в вас сил много, — составляйте себе карьеру: я буду ждать и буду вас любить неизменно. В душе моей в настоящую минуту в отношении вас нет ни одного сомнения. Я слишком верю в ваше благородство и слишком люблю вас. Но если вами руководствует одно случайное увлечение, не обманывайте, скажите мне прямо: ошибку поправить вначале легче. В те дни, когда не думаете быть у нас, пишите ко мне. Не удивляйтесь тому, что не можете ничем заниматься, — я сама не могу даже читать; но вы будьте тверже: вы мужчина и должны, не слабея, идти к вашим прекрасным целям. Греческую трагедию извольте продолжать: может быть, она составит вашу литературную славу. О вашем положении

я буду говорить с вами лично. Если до вас будут доходить слухи, что меня хотят выдать за Степочку, не тревожьтесь: все это я окончу разом.

В...»

Вот какой ответ написала Вера Павловна Шамилову, в уцепую келью которого мы и перейдем теперь на несколько времени. Петр Александрыч жил в старом отцовском доме, который старик доктор купил лет двадцать тому назад, в блестящую эпоху своей практики. Дом был с семью окнами по фасаду, с мезонином, с холодной залой, с маленьким кабинетом и прочими принадлежностями. От времени и запустения комнаты приняли какой-то мрачный вид. Нынешний хозяин проводил свое время в гостиной. Комната эта была с обыкновенными принадлежностями. В ней стояла увесистая карельской березы мебель, обитая ситцем с огромными птицами; в простенке между окнами красовалось довольно большое, но составленное в середине зеркало в почерневшей золотой раме; напротив его висели два портрета, написанные масляными красками, изображающие, вероятно, доктора и его супругу: старик был нарисован в цветном фраке, в бальном жилете и галстукe, но главное впечатление производит он своими густыми черными бровями и огромным перстнем на указательном пальце правой руки, которая держала книгу; докторша была совершенно белокурая дама, с чертами лица весьма мягкими, и кидалась в глаза какой-то невиданной прической и очень странно обозначенною талиєю, — совсем не на том месте, где бы следовало ей быть по сложению тела, но гораздо выше. С приездом молодого хозяина в эту комнату внесены были убранства, вероятно никогда в ней прежде не бывшие: во-первых, на диване, на столе и даже на полу раскидано было несколько журналов, два романа Поль де Кока¹, несколько листков из журнала *des Débats*², курс Лапласа³, немец-

¹ Поль де Кок (1794—1871) — французский писатель; имя его стало нарицательным для характеристики пошло-развлекательной литературы.

² «*Journal des Débats*» — французская официозная газета, возникшая в эпоху французской революции.

³ Лаплас Пьер (1749—1827) — французский математик и астроном.

кая брошюрка о химии, несколько толстых тетрадей; большим, впрочем, почетом пользовались сочинения Гете на немецком языке и переводы Шекспира Кетчера: ¹ они лежали на комод; на окне была раскрыта «Библиотека для чтения» ², и именно на том месте, где говорилось о греческой жизни; за рамкою отцовского портрета был заткнут портрет Садовского ³; на столе были раскиданы, в величайшем беспорядке, несколько исписанных листков бумаги и стояла чернильница с пятком перьев, верхушками которых, должно быть, прочищали трубку. Сам хозяин, в халате и с поэтически разбитыми волосами, ходил по комнате и говорил с большим жаром. У него сидел улан Карелин, курил и слушал. Шамилов рассуждал о довольно отвлеченном предмете: он определял значение музыки и сравнивал с нею поэзию Гейне ⁴, говоря, что поэт этот постиг тайну производить то же впечатление словом, какое производит музыка, и что в его поэзии чувства подмечаются в первый момент их зарождения и потому не высказываются ясно и определенно, и что в этом-то и состоит главная прелесть его стихотворений. Карелин несколько времени прислушивался, потом начал потихоньку зевать и, наконец, встал и взялся за фуражку.

— Будете сегодня вечером у Алексея Сергеича? — спросил он.

Шамилов немного смешался.

— Нет, — отвечал он. — Кстати еще о музыке... здесь есть великая музыкантша.

— Кто?

— Вера Павловна.

— Вы ухаживаете за ней?

— Это с чего пришло вам в голову? Я с ней дружен — и больше ничего.

— Только дружны? Ее, впрочем, кажется, скоро замуж выдадут за этого милого Степочку...

Шамилов вспыхнул.

¹ Кетчер Н. Х. (1809—1870) — русский переводчик Шиллера и Шекспира.

² «Библиотека для чтения» — журнал, издававшийся с 1834 по 1865 год.

³ Садовский Пров Михайлович (1818—1872) — знаменитый русский актер.

⁴ Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт.

— Это чудная девушка! в такой мере благородной, поэтической и развитой натуры я еще не встречал в жизнь мою.

— Ну как же вы не влюблены? вы просто в нее врезались! — заметил Карелин. — Мне, впрочем, и самому она нравится; должно быть, добрая, только немного педантка, чего я терпеть не могу в женщинах, да и собой уж не совсем свежа: цвели, цвели цветики, да поблекли.

— Странно вы, господа, смотрите на женщин, бог вам судья! — проговорил насмешливо Шамилов.

— Нельзя же всем быть такими философами, как вы, — возразил Карелин. — По-моему, девушка должна быть молоденькая, живая, с которой можно было бы поболтать в кадрили... Чего же больше требовать от женщин!

— Мне кажется, что от женщин в наше время можно требовать чего-нибудь и побольше: и ума, например, образованного, и сердца благородного, и симпатии ко всему... ~

— Вы все забираетесь под небеса; прощайте, однако! — проговорил Карелин и ушел.

Тотчас по уходе его Шамилову подали записку от Веры, в которой она просила у него сочинения его о «Гамлете». Он порылся в бумагах и отыскал какой-то измаранный лист, на котором очень часто повторялось имя Гамлета. Это именно и было обещанное им сочинение, но весьма недлинное: не более полулиста; я даже думаю, что оно было только начато. Написав и отправив знакомое нам письмо, Петр Александрыч остался в сильно тревожном состоянии: он беспрестанно глядел в окно и, как бы ожидая чего-то, прислушивался к малейшему шуму. Предчувствие не обмануло. Горничная Веры принесла ему еще записку от барышни, которую мы тоже знаем и которая его совершенно обезумила. Шамилов, в сильной радости, вынув из бумажника последнюю ассигнацию в десять рублей серебром, отдал посланнице; та не брала, но он отвернулся и ушел в гостиную, а часу в восьмом, одевшись, отправился к Ухмыревым. Хозяева приняли его весьма двусмысленно, исключая Веры, которая вся вспыхнула при его приходе и тотчас же ушла в наугольную; Петр Александрыч последовал за ней; она

проговорила с ним без умолку целый вечер; разговор их, надобно отдать им честь, хоть и не отличался логической последовательностью, но в то же время в нем было так много внутреннего содержания, так много чувств... Я в пример приведу только одно: Шамилов, между прочим, прочитал наизусть объяснение самозванца с Мариной Мнишек у фонтана из драмы Пушкина, и прочитал так, что Вера Павловна готова была расплакаться и едва имела силы скрыть внутреннее волнение.

В душе Алексея Сергеевича тоже бушевала драма: он сидел насупившись, играл, ничего не помня, и проиграл сто рублей серебром самому ничтожному партнеру. Авдотья Егоровна, видя беспокойство мужа, тоже была не в духе и тоже проиграла.

Степочка, по случаю отсутствия танцев, тоже очень скучал; он заговаривал было с Верой Павловной, но та решительно не отвечала ему; и, в заключение всего, приехавший Карелин начал над ним подшучивать и между прочим сыграл с ним предезкую штуку: он воткнул в близ стоявший его стул булавку острым концом вверх и движением руки пригласил Степочку сесть рядом с ним; тот, в простоте сердца своего ничего не подозревая, опустил на стул со всего размаха, но в ту же минуту вскочил, захватил раненое место рукою, и припрыгивая на одном месте, закричал благим матом, так что хозяйка даже испугалась и вздрогнула, а прочие обратились к нему с вопросом: «Что такое с ним?» Молодой человек не преминул объяснить истинную причину. Все гости хохотали, но хозяева даже и не улыбнулись.

По отъезде гостей Ухмыревы имели между собою длинный разговор в спальне, в котором часто повторялись имена Шамилова, Веры и Сальникова; наконец, с Авдотьей Егоровной сделалась истерика, и истерика очень сильная. Прибежавшие горничные девушки не могли уже ей помочь и потому послали за весельчаком доктором, который, впрочем, не приехал, а велел своей пациентке выпить стакан холодной воды и умыться тоже холодной водой: этим средством он обыкновенно излечивал Авдотью Егоровну от злейшей истерики.

Прошла неделя, в продолжение которой Алексей Сергеич не только приучил жену рассуждать, не впадая в истерику, о предложении Степана Гарасимыча, но убедил ее даже до того, что она сама решилась намекнуть об этом Вере (чувствительная Авдотья Егоровна всегда и во всем почти соглашалась с мужем и постоянно действовала в его духе). Она должна была, по совету Алексея Сергеича, дать вначале тон слегка и сказать вроде шуточки, что будто бы ей приснился сон, в котором она видела Веру замужем за Сальниковым. Поручение это m-me Ухмырева исполнила в тот же вечер и в присутствии мужа намекнула племяннице. Вера Павловна сначала побледнела, а потом засмеялась.

— Приходят же вам, ma tante, такие пустяки в голову! — сказала она.

— Отчего же пустяки? — проговорила Авдотья Егоровна, потупившись.

— Этот-с жених не пустяки: у него шестьсот душ в виду, — заметил Алексей Сергеич.

— Хоть бы у него их было шесть тысяч, он все-таки остается тем же, чем есть, — возразила Вера.

— Чем же он остается? — спросил Алексей Сергеич.

— Дурачком.

— Об уме, моя милая, судить весьма трудно, — перебила кротко Авдотья Егоровна, — мы иногда доброту принимаем за глупость, а начитанность — за ум, которого от природы, может быть, совсем и нет.

Понятно, что последними словами Авдотья Егоровна намекала на Шамилова.

Вера вспыхнула:

— Неужели, ma tante, вы все это говорите серьезно? — начала она обиженным тоном. — Неужели вы думаете, что я для замужества способна продать себя? В таком случае вы ошибаетесь: я скорее умру с голоду, чем позволю себе назваться женою того человека, которого я не любила бы и не уважала. Не шутите так, ma tante, это жестоко! Я сирота, — проговорила Вера и со слезами на глазах встала и ушла.

Авдотья Егоровна совершенно растерялась; у Алексея Сергеича вся кровь бросилась в лицо. Несколько

времени они молчали; наконец, Алексей Сергеич заговорил и, в этот раз забывши всякую тонкость, вышел из себя. Он почти кричал на весь дом, что Вера Павловна неблагодарная, что она в сорочке родилась, устаиваясь счастья сделаться женою Сальникова, что в ней нет даже чувств и что она ничего не понимает ясно, потому что голова у ней занята каким-то особым парением. Шамилова он бранил нещадно и поклялся своею жизнью не пускать его в свой дом. Авдотья Егоровна ничего уже не в состоянии была ни говорить, ни возражать и впала в жесточайшую истерику. Так прошел целый вечер, и супруги только часу в девятом могли прийти в спокойное состояние духа, и то потому, что приехали двое почтенных гостей, для которых необходимо было составить партию. Всю ночь Алексей Сергеич обдумывал, каким образом ему действовать в предпринятом намерении, от которого все-таки не хотел еще отказаться. «Я говорить с ней не могу: у меня дыханье захватывает, когда вижу такое безрассудство и неблагодарность. На женушку тоже надеяться нечего: она только в обморок умеет падать — и больше ничего; обмороком всякое дело закончит!» — говорил он с досадой, ходя по кабинету, и, наконец, решился написать к Вере в таком тоне письмо:

«Милостивая государыня,
Вера Павловна!

Считая себе за священный долг, по своим родственным чувствам, я в то же время имею честь вам объявить, что Степан Гарасимыч Сальников просил меня насчет руки вашей, которой я, конечно, не могу располагать; но как друг ваш и дядя я, руководствуясь моею пятидесятилетней опытностью, беру смелость дать вам совет и представить дело в настоящем свете. Не упоминаю о значительном состоянии, а также и о душевных качествах этого молодого человека я не распространяюсь, но доброта его уже доказана. На нем мишуры нет, но есть одно прочное и необходимое для семейного счастья, и если вы даже сами пожелаете обратить на него

ваше внимание, то найдете и другие качества, которых теперь и не подозреваете. Затем позвольте именоваться

вашим,

милостивая государыня,

покорным слугою *А. Ухмырев*».

На это письмо Алексей Сергеич получил чрез посланного ответ:

«Почтеннейший дядюшка,

Алексей Сергеевич!

Приношу вам мою благодарность за письменную передачу предложения, которым удостоил меня г. Сальников, и за ваши родственные и обязательные по этому случаю советы; но, к сожалению, не могу ни принять первого, ни воспользоваться последним. Я не желаю быть женою г. Сальникова.

Уважающая вас племянница

Вера Ензаева».

Этим и окончились объяснения насчет сватовства Степочки. По наружности все пошло прежним порядком. Я не знаю, на что решился Алексей Сергеич, но, кажется, ничего особенного не думал предпринимать, кроме того, что заметно сердился на племянницу и целые дни не говорил с нею ни слова. Бедная Авдотья Егоровна очень страдала. В присутствии мужа она была холодна с Верою, но зато, оставаясь с нею наедине и как бы желая вознаградить, ласкалась к ней неимоверно. Вера в гостиной, в зале, за обедом была, по наружности, совершенно спокойна, но в своей комнате сидела по несколько часов, не шевелясь, на стуле, иногда плакала и каждый день переписывалась с Шамиловым, который писал ей, что он все работает и готовится держать экзамен на кандидата. Вера, к сожалению, узнала, что молодой человек не имел еще никакой ученой степени, тогда как она воображала, что он уже пишет диссертацию на доктора. Вера, наслушавшись от папеньки, очень хорошо знала ученые градации и понимала степень их важности. Но Шамилов так умен, так талантлив, что это ничего не значит: он всех нагонит и перегонит. В последнем письме своем она ему писала: «Трудитесь, учитесь! Не могу ли

я быть чем-нибудь вам полезна? Не нужно ли что-нибудь для вас перевести — я переведу», — и Шамилов прислал ей на английском языке историческую брошюру и просил перевести. О, с каким рвением принялась молодая девушка за работу, просидела всю ночь, и как скоро, как прекрасно перевела она, и как даже чисто и аккуратно переписала!

В ближайшее воскресенье Алексей Сергеич назначил у себя большой обед. Зван был весь город, за исключением, конечно, Шамилова. Дать в месяц по крайней мере однажды большой обед Ухмырев чувствовал какую-то органическую потребность; кроме того, в город была привезена новинка из фруктов: это — астраханские арбузы и продолговатый виноград, известный под названием козых сосков. Но главный умысел тонкого ума Алексея Сергеича был тот, чтобы, не пригласивши ненавистного ему молодого человека, окончательно уронить его в глазах общества и явно показать ему, что он не желает быть знакомым с ним, что, кажется, по-моему, было совершенно лишнее, потому что Алексей Сергеич бранил Шамилова всем своим знакомым, называл его нищим, задевал даже покойного отца его, называя покойного доктора невеждой, жадным, и выдумал про старика ужасную небылицу, будто бы тот, приехавши к нему, больному, с визитом, украл у него серебряную табакерку. Желая на своих обедах соблюсти самый высший тон, Ухмырев назначал их всегда в пять часов и очень не любил, если кто из гостей приезжал не во фраке, сам же являлся не только во фраке, но даже в белом жилете. Авдотья Егоровна тоже одевалась очень парадно: в шелковое дорогое платье, в бархатную рублей во сто серебром мантилью, украшая себя в то же время значительным числом своих прекрасных и дорогих брильянтов; чепец для каждого обеда был новый; Веру всегда тоже упрашивала нарядиться почти по-бальному. Стол сервировался превосходно. Тончайшего свойства скатерть и прочее белье, граненый хрусталь, серебро не накладное, английская посуда — все это было ценно, хотя и не отличалось особенным вкусом. Алексей Сергеич чрезвычайно любил видеть процесс накрывания своих *grands diners*¹ и принимал в этом деле самое живое

¹ Парадные обеды (франц.).

участие. Сам раскладывал огромную скатерть, наблюдая, чтоб не осталось ни одной морщины, и потом она весьма грациозно связывалась по бокам. Варенье в вазы он всегда сам накладывал и собственными руками перетирал серебро. Один из прежних друзей Алексея Сергеича, но ныне заклятый враг, рассказывал про него довольно забавный анекдот, а именно, что будто бы он приехал однажды к Ухмыреву в сумерки, в лакейской никого не было, и потому он прямо прошел в кабинет, где и увидел совершенно неожиданную картину: Алексей Сергеич, с засученными рукавами стоял на полу на коленях и чистил красным кирпичом самовар; пот катил с него градом; лицо, белье, — все это, как водится, было очень перепачкано. «Положим, — прибавляет враг, — что некоторые любят стряпать, другие столярничать, — все это понятно, потому что во всем есть некоторая пища для ума; но чтобы любить лакейские обязанности, это не видано и не слыхано!»

В настоящем обеде Алексей Сергеич хлопотал немного: он только изобрел какой-то особенный манер складывать салфетки и очень долго хлопотал, чтобы соблюсти симметрию в расстановке ваз, из коих две были с вареньем, а одна, побольше, с козьими сосками. Облекшись потом в свою форму, он начал ходить около накрытого стола с заметным самодовольством. Авдотья Егоровна еще одевалась. В такие дни туалет ее обыкновенно продолжался от десяти до двух часов; сначала у каждой затворенной двери ее уборной стояло по горничной, и когда подходили к ним Алексей Сергеич или Вера, то им обыкновенно говорили: «еще нельзя-с: барыня одевается»; но когда уже было надето платье и оставалось только возложить на голову чепец, надеть брильянты и покрыться мантильею или шалью, тогда те же горничные растворяли дверь и начинали приглашать к госпоже мужа и племянницу: «Пожалуйте к барыне посмотреть, хорошо ли на них сидит платье»; или: «Идите взглянуть на тетеньку, идет ли к ним новый чепчик».

В настоящее время Авдотья Егоровна одевалась как-то не с удовольствием. Всю эту неделю она измучилась, видя, что Алексей Сергеич все не в духе; туалет тоже не ладился: ее не слушалась правая букля, которая выставлялась из-под чепца или очень много, или очень мало: она послала свою горничную за Верочкой, чтобы

посоветоваться с ней насчет этой неудачи, но ей донесли, что барышня больна, не одета и не выйдет к столу. Нарядившись, Авдотья Егоровна хотела было зайти к племяннице, но Алексей Сергеич ей запретил.

— Сделайте милость, хоть на сегодняшний день не тревожьте вы себя! Взгляните, на что вы похожи! Оставьте ее, пусть капризится и сидит в своей конуре.

— Но, друг мой, я знаю, что это тебе будет неприятно.

— Напротив: мне очень приятно. Я ее давно очень хорошо знаю и понимаю... Когда уж, Авдотья Егоровна, в сердце нет родственного чувства, так уж его не займешь, — прибавил Алексей Сергеич, колотя себя по груди.

У Авдотьи Егоровны нависли на глазах слезы; но она скрепилась. Перед каждым торжественным случаем Авдотья Егоровна обыкновенно старалась владеть собой и никогда не впадала в припадки истерики. К племяннице она не пошла и, в ожидании приезда гостей, уселась в гостиной. Вера не была больна; она в самом деле капризилась, потому что часу в первом начала было одеваться, надела уже корсет, но болтунья горничная, которая с некоторого времени поставила себе за правило беспрестанно говорить барышне о Шамилове, застегивая ей платье, доложила, что «Петр Александрыч не будет на обед, что дяденька их не позвали и даже строго приказали Петру, который ходил приглашать гостей, чтобы он, как-нибудь по ошибке, не позвал Шамилова, и велел им отказать, когда они приедут; но что за Степочкой послали сейчас фаэтон, а у него, у богача, и экипажишка порядочного нет; этта выехал на худой-прехудой лошади и в старых-престарых дрожках, так что все купцы выбежали из лавок смотреть на это чудо; кучер-то словно филин сидит да вожжами хлопает». Последних слов Вера уже не слыхала; она еще в начале монолога побледнела, а потом, сказав, что ей дурно, велела себя раздеть и выслала горничную. Оставшись одна, она всплеснула руками и разрыдалась.

Начали съезжаться гости, из которых мы почти всех знаем. Софи и Ирин приехали с папеньками и с маменьками; на этот раз у этих девиц или был какой-нибудь важный секрет, который они спешили открыть друг другу, или у которой-нибудь из них случилось нечто

неприятное по туалету, потому что они, поздоровавшись с хозяевами, тотчас же ушли в дальнюю комнату, сидели там до самого обеда и все что-то шептались. Катерина Петровна, как следует львице, приехала одна. Весельчак доктор только что вошел, тотчас же и сострил; Карелин приехал, к неудовольствию хозяина, в вицмундире, но, впрочем, тотчас же извинился. Авдотья Егоровна с печальным видом рассказывала всем, что бедная Верочка заболела и теперь, бедняжка, сидит в своей комнате и скушает. Доктор, выпивши водки и съев по крайней мере в четверть фунта кусок сыру, хотел было идти к ней в комнату и вылечить ее в одну минуту, но хозяйка его остановила, говоря, что больная немного заснула.

Великолепно, истинно великолепно катил на больших рысах Степан Гарасимыч в хозяйском фаэтоне; лицо его сияло от удовольствия; с гордым и надменным видом взглянул он на двух босоногих мальчишек, запускавших на середине улицы змея, и едва кивнул головою поклонившемуся ему чиновнику в старом вицмундире. В обманчивом самодовольстве молодой человек воображал, что экипаж этот Алексей Сергеич подарил уж ему, вместе с лошадьми, как своему племяннику. В залу он вошел с самую приятною улыбкою и с приличною грациею шаркался со всеми гостями. Хозяин, здороваясь с ним, посмотрел на него с большим чувством.

— Это ваш фаэтон? — спросил Степочку улан.

— Никак нет-с: это экипаж Алексея Сергеича; он мне очень нравится.

— Право?

— Да-с. Я на днях сам думаю выписать себе из Москвы точно такой же

— Недурно. Он к вам очень идет, — сказал Карелин, подмигнувши Катерине Петровне.

— Благодарю вас покорно за комплимент, — отозвался Степочка и прошел в гостиную.

Он подошел прямо к хозяйке и в порыве чувств поцеловал у ней руку. При этом случае Авдотья Егоровна немного смешалась, так как, в настоящее время, обычай целовать у дам руки совершенно уже изгнан из общества. Степочка сел около хозяйки, довольно нецеремонно вытянул ноги и начал играть цепочкою своих часов, — одним словом, старался представить из себя светского, бойкого молодого человека. Он был в новом фраке, и это

ему очень много прибавило форсу. Но я с своей стороны решительно не понимаю, каким образом Степан Гарасимыч мог оставаться доволен своим фракком, который был никуда негодно сшит. Конечно, видно, что Безухой старался подражать в нем совершенной моде и пустил талию довольно низко, но зато везде морщило, косило, один борт был ниже другого, воротник хомутом; сукно плохое, как крашенная фланель.

— Вера Павловна дома? — спросил Степан Гарасимыч.

— Она дома, но больна, моя милушка, и не выйдет к нам; мы не увидим ее сегодня.

Это известие весьма опечалило Степана Гарасимыча.

— Какое это несчастье, и в какой день! — проговорил он.

— Да! ужасно грустно, — подтвердила Авдотья Егоровна.

После этого разговора Степан Гарасимыч отошел от хозяйки, уселся на дальний стул и задумался. Тонировал ли в этом случае молодой человек, желая представить из себя влюбленного, или в самом деле опечалился, услышав о болезни Веры Павловны, но только он по крайней мере с полчаса сидел как темная ночь.

— Вы слышали историю? — сказала Катерина Петровна улану.

— Нет.

— Сальников здесь сватался, вышла целая аларма, Вера теперь от этого больна.

— У ней, кажется, с Шамиловым идут маленькие шуры-муры.

— И не маленькие, напротив: каждый день переписка; я это знаю из верных источников. Посмотрите, как этот чудак Степочка грустен. Ах, какой он смешной!

— Мне его подурочить хочется.

— За что же?

— Так; ужасно противная физиономия. Я все думаю, какую бы мне с ним штуку сыграть... Где бы мне достать клочок бумаги и карандаш?

— Зачем это вам?

— Нужно.

— Нет, скажите!

— После.

— Нет, теперь, а не то я всем расскажу.

— У вас за этим дело не станет, — отвечал Карелин и начал что-то шепотом рассказывать Катерине Петровне, которая только качала головой.

— Ах, какой вы злой изобретатель! Я прежде этого не думала.

— Где бы достать бумаги?

— В кабинете есть — я видела; но нет, мне, право, его жаль.

Улан ушел в кабинет; воротясь оттуда, он подошел к окну, постоял тут немного и опять отошел.

Катерина Петровна между тем перешла в гостиную и села около Степочки, который все еще сидел в задумчивом положении.

— Отчего вы, monsieur Salnicoff, так грустны? — спросила она.

— Я ничего-с, так, раздумался о своей жизни, — отвечал он.

— Нет, вы очень печальны, у вас что-нибудь на сердце лежит. Я знаю: вы влюблены.

— Кто ж из молодежи не бывает влюблен. Вы сами бывали, вероятно, влюблены?

— Про меня нечего говорить! я уж состарилась. Знаете ли, что я против вас немного виновата. Я думала, что вы ветреник, волокита, но теперь вижу, что ошиблась. Вы постоянны и любите только одну, и я даже знаю, кого именно. У вас прекрасный вкус. Но грустно только то, что на нас, старух, теперь уж никакого внимания не будете обращать.

— Позвольте вам сказать, Катерина Петровна, что вы несправедливо изволите думать: я нынче, как и прежде, люблю и уважаю всех дам, — возразил Степан Гарасимыч.

— Нет, не верю! вы в одну влюблены... Отчего же вы теперь так грустны? Отчего же не хотите ни с кем любезничать?

— Помилуйте-с, я готов; но приятно ли это будет?

— Не знаю, как другим; но мне это было бы очень приятно, — произнесла Катерина Петровна кокетливо.

Степочка улыбнулся и потупил глаза.

— Я готов-с, — произнес он.

— Сделайте милость, начинайте.

— Я не смел думать, чтобы я мог быть так счастлив...

В это время Петр, возводимый на торжественный случай в звание метрдотеля, возгласил громогласно: «Стол готов-с!» Этот лакей был вообще отличаем господами против прочей прислуги, и именно за то, что он никогда не являлся безобразно пьяным. Но, собственно говоря, он только был крепче других.

— Где вы сядете? — спросила кокетка Катерина Петровна Сальникова.

— Если позволите, то, конечно... — отвечал тот.

— Где-нибудь подальше от меня?

— Нет-с, возле вас...

Сели за стол. Степочка очутился между уланом и Катериной Петровной. Карелин начал с того, что налил себе и соседу по стакану мадеры и просил его, чокнувшись, выпить; Степочка некоторое время отговаривался.

— Выпейте за мое здоровье, — сказала Катерина Петровна.

— Не смею отказаться, — произнес Сальников и выпил.

В дальнейшем ходе обеда в отношении моего героя его соседи вели ту же тактику: Катерина Петровна любезничала с ним, а улан поил вином. В странное состояние духа пришел молодой человек: он грустил, что не видит Веры, был счастлив любезностью Катерины Петровны, и, наконец, вино сильно на него подействовало: он сделался заметно пьян. Степочка во всю свою жизнь не более пяти раз был в нетрезвом состоянии, — и вино оказывало на него какое-то непонятное действие: из скромного молодого человека он делался обидчивым, строптивым, дерзким и даже насмешливым. В настоящем случае то же повторилось. Он начал своей даме говорить такие вольности, что она, несмотря на развязность своего обращения, не в состоянии была слушать. К концу обеда, когда уже начали подавать козьи соски, вдруг двери отворились, и вошел мужчина, запыленный, в дорожном сюртуке, с дорожным озабоченным лицом. Хозяин вскочил с своего места.

— Гаврило Петрович! — воскликнул он, заключая гостя в объятья и целуя его более чем троекратно.

— Прекрасно! прекрасно! — говорила хозяйка. — Столько времени захватить и до сих пор к нам не возвратиться.

Гость поцеловал у ней руку. Это был местный уездный предводитель, большой друг и приятель Алексея Сергеича и Авдоѣи Егоровны. Он все последнее время жил в губернском городе.

— Малой! прибор, водки, сыру, — кричал хозяин.

— Ничего не надо, я уже обедал! — отвечал гость и с тем же озабоченным лицом сел около хозяйки. — Всю ночь сегодня скакал на почтовых, завтра сенатор к нам будет.

— Уже! — воскликнул Алексей Сергеич и побледнел; побледнело несколько и других чиновничьих лиц, сидевших за обедом.

— Всю гражданскую палату отрешил от должности, теперь принимается за ведомство государственных имуществ. Приходо-расходчика там из палаты, говорят, в острог велел посадить.

— Господи, помилуй нас грешных! — произнес Алексей Сергеич и оградил себя крестным знаменем.

На другом конце стола тоже раздалось несколько застенчивых, но глубоких вздохов.

— Где же он жить-то у нас будет? Где жить-то? — воскликнул Алексей Сергеич озабоченнейшим тоном.

— У Рогаткиных я велел приготовить. Вы, пожалуйста, уж наблюдайте, чтобы там все вычистили и подправили, — обратился предводитель к городничему.

— Я сейчас же поеду! — произнес тот и, не имевши почти лица на себе, встал потихоньку из-за стола и на цыпочках, но торопливым шагом вышел. Между тем Алексей Сергеич и прочие гости остались в сильном раздумье. Хозяин, однако, вскоре нашелся. Он велел налить всем шампанского и, встав на ноги, произнес:

— Господа! позвольте вам предложить тост за здоровье его сиятельства нашего ревизиющего сенатора...

— Ура! ура! — подкрикнули ему чиновники и помещики.

— Что он-то так хлопочет; ведь не служит, кажется, — заметил винный пристав стряпчему.

— Ну да! поди ты вот, — отвечал тот грустным голосом.

После обеда около предводителя столпились несколько мужчин и стали расспрашивать, как и что князь; один только Степочка несколько не смутился: он и в ус

ничему не дул, а, напротив, как-то еще свысока на всех стал посматривать, толкнул локтем одного старика и пошел было отыскивать Катерину Петровну, но та уже, спасаясь от его любезностей, куда-то скрылась. Степочка подошел с гордым видом к предводителю и несколько времени гордо смотрел на него.

— А зачем сюда сенатор едет? — вдруг спросил он.

— А вот этаких неслужащих дворян в солдаты брить, — отвечал предводитель.

— Как мне понимать ваши слова? — спросил Степочка и закусил губы, что у него всегда означало присутствие сильного гнева.

— Это он на ваш счет говорит, — подуськнул его улан.

— Чего-с? — отозвался и ему Степочка и хотел было обратиться снова к предводителю; но того уже не было: он ушел за хозяином, который дернул его за руку и просил идти с ним в дальнюю комнату переговорить. В комнате этой стояли на столе два полные стакана шампанского.

— Выпьемте еще за здоровье его сиятельства, нашего теперь командира и владыку...

Предводитель с ним чокнулся и выпил.

— Теперь ведь дело вот в чем, — продолжал Ухмырев, — ну, вот он придет сюда. Чиновники представятся там ему своим чередом; но где же мы, дворяне, увидим его?

— Да, пожалуй, я дворян представлю, — отвечал предводитель.

— Прекрасно-с! — воскликнул Алексей Сергеич, — но ведь вы представите Сидора... Петра... Алексея, всех вместе. Где ему тут различить, кто какой человек. Так я говорю?

— Да так-то так! — отвечал предводитель.

— Так? — повторил опять Ухмырев. — Я полагаю, в этом случае вам прямо надобно ему объяснить, что вот здесь в городе собственно живет один только помещик, то есть я... потому что я могу и партию ему составить и в дом к себе принять, а какая ему радость, если вы его познакомите с каким-нибудь Козиним, у которого фрачишки нет и водкой воняет целый день.

— Это можно будет сделать, — согласился предводитель.

— Непременно, а чтобы о прочих и духу никакого не было, а то они вас же скомпрометируют, — подхватил Алексей Сергеич и предложил еще раз тост собственно уж за здоровье предводителя, расцеловался с ним потом и вышел к прочим гостям. Он был очень доволен этой маленькой беседой, в продолжение которой так ловко успел обделать дело, что один только в целом городе, как частный человек, будет знаком с сенатором.

Степан Гарасимыч между тем с прежним озлобленным видом ходил по зале. Подойдя к окну, он взял свою шляпу, из которой выпала записка. Сальников поднял ее и прочел сначала равнодушно, прищуря несколько левый глаз, — но тотчас же изменил выражение лица, уткнул палец в лоб, несколько времени думал, потом улыбнулся и начал незаметно выбираться из залы. Наблюдавший его Карелин поклонился ему вслед. Выйдя на улицу, Степан Гарасимыч опять приостановился и задумался. Найденная им в шляпе записка была действительно довольно загадочного содержания:

«Милый Степочка! я тебя давно люблю и потому решилась тебе назначить свидание — в гостинице, в 3 №, где и буду ожидать тебя целый день; тебя встретит человек с рыжими усами, ты ему скажи одно слово: *Паленый поросенок*; вначале он будет показывать, что сердится на тебя, будет, может быть, браниться; но ты не робей и повторяй это слово чаще, и он проводит тебя ко мне; иначе ты меня не увидишь. Если же, паче чаяния, ты не встретишь этого человека, то спроси номерного, и он к тебе выйдет.

Ожидаю тебя. *Неизвестная*».

Будь в обыкновенном состоянии Степочка, он, конечно, принял бы эту записку только к сведению; но в охмеленную голову его пришли бог знает какие несбыточные мысли. Сначала он заподозрил Катерину Петровну, которая так любезничала с ним. «Не от Веры ли Павловны?» — подумал он, наконец, и от последней мысли голова его еще более помутилась; запнувшись о камень, причем весьма больно ушиб себе ногу, Сальников опять переменял образ мыслей и начал предполагать, что это, должно быть, писала к нему какая-нибудь незнакомая дама, которая где-нибудь, вероятно, его ви-

дела и влюбилась в него. — «Интересно знать, хороша ли она собой? Если дурна, так не надобно... но если хорошенькая, так ничего: идет!.. Хи... хи... хи... Стыдно бы тебе, Степан Гарасимыч, делать эдакие проказы! вспомни — ты скоро женишься... хи... хи... хи... Ничего — пошалою, да и закаюсь; мало ли мы, молодые люди, шалим; невесты на это не смотрят. Но каким образом эта записка в шляпу ко мне попала?» Последнее обстоятельство опять сбило его с толку. Рассуждая таким образом, он все-таки шел к таинственной гостинице, ошибиться в которой было невозможно, так как она была единственная в городе. Войдя на двор, он действительно увидел на рундучке крыльца человека с рыжими усами и в нанковом сюртуке.

— Паленый поросенок! — проговорил Степан Гарасимыч, подходя к нему.

Рыжеусый взглянул на него свирепо.

— Чего тебе надобно? Что ты ругаешься?

— Паленый поросенок! — повторил он.

— Я тебе дам такого поросенка, что ты у меня вылетешь отсюда! Я не посмотрю, что ты барин, или там купец какой-нибудь — убирайся!

— Я тебе говорю: дама... Паленый поросенок!

— Молчи! я тебя, право, проучу!!!

— Паленый поросенок! — повторил Степан Гарасимыч и пошел было в коридор. — К даме, я тебе говорю, поросенок...

Рыжие усы совершенно вышли из себя.

— Вот тебе паленый поросенок! — вскрикнул он, и как мне ни совестно, но все-таки я должен сказать, что он дал Степану Гарасимычу такого рода серьезную затрещину, что у того посыпались звезды из глаз. Подобной обиды Сальников, наделенный от природы довольно сильным мужским организмом, конечно, никогда бы и никому в мире не спустил, а тем более в настоящем случае: забывши даму, и записку, и слово «паленый поросенок», он дал такую сдачу рыжим усам, что те свалились с ног. Затем Степочка придавил ему коленом грудь и начал ковырять ему глаза, раздирать рот, так что рыжеусый, как только вырвался из-под него, то одним взмахом взлетел на чердак и начал оттуда пускать в Степочку камнями. Тот, разумеется, принужден был отступить, и как ни блистательна была одержанная им

победа над этим загадочным человеком, но все-таки он вышел из гостиницы совершенно не похожий на себя: новый фрак его не только был измят, но в рукавах на многих местах изодран; лицо его пылало гневом; хмель же у него от сильного моциона значительно выскочил, — он отправился прямо домой и всю дорогу ломал себе голову, что бы это такое с ним за приключение было. Но мы, конечно, можем догадаться, что в третьем номере гостиницы никакой дамы не бывало, а стоял в нем сам Карелин. Рыжие усы был нумерщик, его дразнили в городе прозвищем *паленый поросенок*, и этого имени он так не любил, что начинал обыкновенно браниться и драться со всяким, кто только называл его таким образом...

V

Переписка между Шамиловым и Верой шла неутомимо, через посредство доверенной горничной. В каждом письме своем Шамилов молил Веру о свидании и спрашивал о причине, по которой его не принимают. Вера вначале скрывала, но, наконец, написала откровенно, что жестокий дядя не велел его принимать. «Пусть он не принимает, — писал с своей стороны Шамилов, — но мы должны видеться с тобой, Вера! Ты дашь мне случай видеть себя вне дома этого человека». Вера не отвечала целый день на это письмо; но последовало другое, еще страстнее, еще пламеннее. Отчаяние молодого человека доходило до последних пределов. Не прошло четверти часа, как было прислано еще третье послание, в котором Петр Александрыч прямо говорил, что он пишет его, имея под руками заряженный пистолет. Молодая девушка не в состоянии была более бороться и написала дрожащею рукою: «Приходите в пять часов в рощу, к тому месту, где стоит скамейка: я буду там гулять». Роща эта лежала около самого города и служила в хорошее время местом прогулки для многих из горожан; в ней росли иногда сухарки, боровые рыжики и брусника. Нельзя сказать, чтобы она была опрятно содержима, или, лучше сказать, ее украшала и содержала одна только природа. В стороне, ближайшей к городу, была сделана дерновая скамейка. Вера часто гуляла в этом месте, потому что она, как мы знаем, очень любила лес, а роща в полном

смысле могла быть названа лесом. Вера Павловна вышла в сопровождении горничной. Забыв совершенно от внутреннего волнения, что был уже конец сентября, она накинула на себя только легонький летний бурнус. Шамилов уже сидел на назначенном месте. Вера его завидела еще вдали. В одежде и в самой позе молодого человека было несколько умышленного кокетства. Он был в очень хорошо сшитом пальто, с поднятым воротником, в нахлобученной шляпе, и сидел, опершись на палку. Первым движением его было броситься к Вере Павловне; но, увидев горничную, он приостановился.

— Bonsoir! — проговорила Вера, сконфузясь и подавая ему руку.

Горничная, сообразив, что она лишняя, отошла и, отыскав куст брусники, присела к нему и сделала вид, как будто ничего не видит и не слышит, тогда как все видела и все подмечала.

Давно минула для меня, смиренного рассказчика, та волшебная пора, в которую я сам бывал в положении Шамилова, минуло даже и то время, когда в подобных свиданиях видел бог знает какую глубокую драму. Много было описано мною келейно подобных сцен, и они, милые читательницы, может быть, понравились бы вам гораздо более той, которую я буду сейчас излагать, потому что молодые люди обнаруживали в них так много страсти, так умно, так плавно и так логически говорили между собою; но, право, я был тогда пристрастен. Теперь не то: теперь я буду описывать чувствования пережитые, но не переживаемые, и, соблюдая строгую справедливость, отнесусь к молодым людям с симпатией, но нелицеприятно.

Вера села на скамейку, Шамилов тоже, но довольно вдалеке. Разговор некоторое время не начинался.

— Вы очень меня любите? — сказала девушка с заметным усилением над собой.

Петр Александрыч взглянул на нее пламенно.

— Не грех ли вам спрашивать меня об этом! — воскликнул он тем впечатлительным тоном, которым произносят трагические актеры многозначительные слова своей роли.

Вера отвечала только взглядом.

Молчание.

— Я сегодня много плакала, — сказала Вера.

— Вы плакали? — спросил с ужасом молодой человек.

— Да... мне было досадно на дядю и тетку за вас. Любили ли когда-нибудь эти люди!

Шамилов горько улыбнулся.

— Чтобы уметь любить, надо уметь чувствовать. Но зачем вы, Вера Павловна, говорите мне о других? говорите мне о себе, — о себе только и больше ни о ком. Вы для меня целый мир!

Опять молчание.

Мы все, конечно, согласимся, что молодой человек не сказал в последнем монологе ничего особенного, но иначе отозвались эти слова в сердце Веры.

— Любили ли вы прежде? — проговорил Шамилов.

— Так, как вас, — никогда. Мне только нравился один человек: он очень походил на...

«На тебя», — конечно, думала сказать молодая девушка, но остановилась.

— Я вас очень люблю, — договорила она и потом, как бы нечаянно, прибавила, — а ты любил прежде?

В любви, как известно, переход от «вы» на «ты» составляет довольно значительный шаг.

— Я? я любил безумно, страстно! Это существо было не от мира сего; я видел ее развитие; я хотел во имя ее посвятить всю мою жизнь.

— Вы безумно любили? — спросила Вера нетвердым голосом.

— Не беспокойтесь: ее уж нет в живых.

— Но, может быть, вы и теперь ее любите?

— Встретившись с вами и полюбивши вас, это немного трудно.

— Не обманывайте меня, Шамилов; вы теперь для меня единственная радость, одно только счастье в мире. Если вы забудете меня, я не перенесу этого и умру.

— Вера, дивное ты создание! — проговорился Шамилов. — Неужели ты думаешь, — продолжал он в совершенном увлечении, — что, полюбив тебя, можно разлюбить? Неужели ты не знаешь себе цены и не сознаешь своего достоинства?

— Я верю тебе, — обмолвилась окончательно Вера.

Шамилов схватил ее руку и поцеловал.

Опять последовало продолжительное и красноречивое молчание.

— Где вы думаете служить? — спросила Вера, придя несколько в себя.

— Насчет службы — не знаю. Теперь у меня другие планы.

— Скажите.

— Покуда еще и говорить об этом страшно.

— Мне вы должны говорить все.

— Я думаю, выдержав экзамен на кандидата, издавать журнал: это единственный для меня выход.

— Это прекрасно! Я бы стала тебе помогать, — проговорила опять Вера. — Я бы стала переводить, переписывать... только это очень трудно. К папеньке часто ездил... один журналист... ах, как он, бедненький, беспокоился! Приедет, бывало, измученный, усталый, худой.

— Труд — пустяки, труда я не боюсь, — возразил Шамилов, — я улучшу журналистику. Я покажу публике, какова она должна быть, — продолжал он. — Боже мой! это для меня такая высокая цель, что от одной мысли голова идет кругом! Представь себе, Вера: я целое утро хлопочу с сотрудниками, у меня в редакции не будет валяться целая кипа романов, повестей и прочего, которое потому только не годится, по мнению редактора, в журнал, что ему лень все это читать и что ему приятнее ехать обедать с приятелями. Я все прочту, все рассмотрю, с корректором стану браниться на каждом шагу. По вечерам примусь и за свои труды. Вы, Вера, конечно, будете около меня... или нет! я вас отошлю в вашу комнату: при вас я буду не в состоянии заниматься и буду все любоваться вами.

От этого монолога, кажется, и у Веры Павловны тоже пошла голова кругом; она потупилась и несколько времени не в состоянии была проговорить ни одного слова.

— Возможно ли это? сбудется ли это?

— Сбудется, Вера! Любовь к такой женщине, как ты, из пигмея сделает великана... Веришь ли ты хоть сколько-нибудь в мои силы?

— Да... — могла только ответить девушка.

Прошло еще несколько минут молчания; горничная пересела к другому кусту брусники.

— Я сейчас вспомнила: ко мне сватался этот Степочка, — сказала Вера.

— Сватался? — спросил Шамилов, переменясь в лице.

— Дядя и тетка мне говорили; я им сказала, чтобы они мне и не повторяли в другой раз.

— Это черт знает что такое, — воскликнул Шамилов, — у меня решительно сердце каменеет, когда я вижу или слышу об этом человеке! Я бы больше верил в твою любовь, в свои собственные силы и в возможность будущего счастья, если б этот болван не перебивал мне дороги.

Вера усмехнулась.

— А тебя разве он не беспокоит? Разве ты не чувствуешь тоски, видя перед собой это животное? — спросил Шамилов.

— Нисколько! — отвечала она. — Я нисколько не боюсь его, нисколько не смущаюсь его вниманием и даже не думаю про желание дяди и тетки. Я полюбила тебя и сказала себе, что буду твоею женою, хотя бы весь свет восстал против этого. Ты меня еще не знаешь: я с характером!

Беседа молодых людей, вероятно, продолжалась бы еще очень долго, если б им не напоминала о расставанье наша северная природа, в которой, к концу сентября, в седьмом часу смеркается. К сумеркам присоединилось облако, от которого повеяло на них чересчур свежим воздухом, и даже пошел маленький снежок, вроде крупы.

— Барышня! пора домой: уж скоро темно; посмотрите, как вы посинели, — сказала горничная.

— Adieu, — проговорила Вера и пошла.

— Проводите до города... этаким барин молодой, а не ловкий, — шепнула горничная Шамилову.

Он торопливо вынул из бумажника ассигнацию в три рубля серебром и сунул ей в руку. Нагнав Веру, он взял ее под руку. Несмотря на ветер, несмотря на снег, молодые люди шли не скоро и если не говорили между собой почти ни одного слова, то все-таки понимали друг друга. Шамилов чувствовал эту бесценную руку на своей руке, чувствовал биение ее сердца, а Вера, — она, как я полагаю, ничего не видела, ничего не помнила, что вокруг нее происходило. Но вот город: предусмотрительная горничная тотчас же развела их и велела одному идти в одну сторону, а другой — в другую. Но когда барышня благополучно возвратилась в свою комнату, она не пре-

минула отправиться со двора и побежала к своей приятельнице, горничной Катерины Петровны, и сообщила той о всем, что видела и слышала, весьма подробно; приятельница эта — своей барыне, а барыня — улану и еще кой-кому и так далее.

Князь, наконец, приехал с своей комиссией, и чиновники уж ему представлялись; был у него и Ухмырев в субботу, один. Если принять во внимание нахмуренное чело и вообще недовольное выражение лица, с которым Алексей Сергеич возвратился домой из Семеновского, то явно можно было заключить, что он остался недоволен приемом. Авдотья Егоровна, конечно, сейчас же заметила это и почти догадалась о причине, но не спрашивала: она очень хорошо знала, как близко это сердцу мужа, и потому не хотела растревлять еще более раны. Алексей Сергеич сам заговорил.

— Князь чудак: он слишком много себе позволяет, — начал он.

— Что такое? — спросила Авдотья Егоровна.

Алексей Сергеич поднял плечи.

— Я понять не могу, у меня до сих пор все как в тумане. Приезжаю — ну, все как быть хорошо, зову его и, конечно, говорю о картах, стараюсь узнать, какую любит партию, большую или по маленькой... Вдруг он начинает говорить мне дерзости: «Что это такое, говорит, за занятие — карты? Это глупо, говорит, и вредно». Я вначале сообразить ничего не мог. «Ваше сиятельство! — наконец, говорю, — я не азартный игрок, я веду игру коммерческую». — «Тем хуже, говорит, это уж совсем мелкая корысть». А? нравится тебе это? Что он этим выражением хотел сказать? То, что я желаю выиграть десять рублей серебром... так ли? Так он, извини, он, может, копейки усчитывает, а я нет! Я тут промолчал: возражать смешно. Но еще раз он не скажет мне этого: я отвернусь и уйду.

— Не любит карт, не охотник играть! — заметила Авдотья Егоровна.

— Согласен. Но обращение непристойно, тон неприличен... Прекрасно! Теперь он будет у меня: что же? я не буду сметь ни одного столика открывать... Так ли?

— Когда он будет, конечно, не надобно карт, — отвечала Авдотья Егоровна.

Алексей Сергеич пожал плечами.

— Но это еще ничего; слушай дальше. Сижу я у него и вдруг слышу шаги, и входит, именно как я предчувствовал, этот Козин гадкий, скверный; но как мне было сказано: «прошу покорнейше садиться», так и ему то же самое, — стало быть, он ставит меня совсем с ним на одну доску, так ли?

Авдотья Егоровна покачала только головой.

— Нет, ты погоди, постой, — говорил между тем Ухмырев, — это только еще цветики, а ягодки впереди. Выхожу я, прощаюсь, хоть бы слово мне, а так как лошади еще не были у меня поданы, я и остановился в передней... Слышу, Козин тоже прощается, и он ему говорит: «Как, говорит, выеду, так буду у вас». Что же это такое! Я сошел с лестницы, не помня себя. Мне не под лета сносить подобные оплеухи!

— Друг мой! поверь, что это ничего, — вздумала было Авдотья Егоровна успокоить своего супруга.

— Как ничего! очень чего! — возразил он ей резко. — Тут две вещи: или он совсем не хочет понимать людей, как надо, или ему ничего не было сказано. На что же после этого предводитель у нас? Еще не без чего я говорил и просил. В чем его прямая обязанность состоит, как не в том, чтобы сортировать перед высшими лицами дворян!

— Вышние люди, cher Alexis, чрезвычайно скрытны; по наружному виду их никак нельзя узнать об их мнении; я тебе говорю, что он к нам к первым приедет.

— А я тебе говорю, что он к нам совсем не будет! — вскричал Алексей Сергеич почти уже бешеным голосом и ударив себя в грудь... — Да-с!

— Нет, Alexis, ты заблуждаешься.

— Пожалуйста, не спорьте. Вам чепчики — и больше ничего! Вы в этих делах ни аза не понимаете! — заключил он и ушел, не заметив даже того, что у чувствительной Авдотьи Егоровны показались на глазах, по обыкновению, слезы, и она готова была упасть в обморок, но удержалась единственно потому, чтобы не расстроить еще более мужа и самой не лишиться сил ехать к весельчаку доктору на званый обед по случаю именин его жены.

Между тем как волновался таким образом Алексей Сергеич, князь, начальная и конечная точка всех его теперешних помышлений, сидел у себя в кабинете в ха-

лате за письменным столом. Перед ним стоял в почтительной позе правитель дел, тоже уже статский советник и с Владимиром на шее. Он докладывал князю вновь полученные бумаги.

— Какое-то частное письмо, — сказал он, подавая князю пакет.

Тот развернул и начал читать. С каждой строчкой его старческое и мрачное лицо начало принимать все более и более добродушное выражение; на первой странице письма, наверху ее, был поставлен маленький крестик... Оно было следующего содержания:

«Я прибегаю к вашей помощи, князь, и прибегаю потому, что вы меня знаете. Я дочь вашего старого знакомого Ензаева, та маленькая Верочка, которую вы когда-то ласкали. Я теперь сирота, живу здесь у моей родной тетки Ухмыревой. Говорить с вами откровенно я могу, потому что я дочь Ензаева. Родные хотят меня выдать за человека, которого я ненавижу и люблю другого; но он не нравится моему дяде Ухмыреву. На вас теперь, князь, вся моя надежда. Помощь этому человеку и ваше участие ко мне спасут нас: достаточно одного вашего слова, чтобы родные мои переменили свое намерение и отдали меня тому, кому принадлежит и мое сердце и вся душа моя. Фамилия его Шамилов. Спасите нас, князь; вас за это бог наградит!

Вера Ензаева».

Письмо было написано таким почерком, по которому ясно было видно, что сочинительница его и сама, кажется, не понимала хорошенько, что делала и что писала.

— Верочка Ензаева! — произнес старик. — А что, у меня был, кажется, какой-то Ухмырев? — спросил он, обращаясь к правителю.

— Был, кажется, ваше сиятельство.

— Скажите или дайте как-нибудь там знать, хоть через городничего, что я уже вечером заеду к нему.

— Слушаю-с, — отвечал правитель и собрал доложенные бумаги. — Приказанья больше не будет?

— Нет, — отвечал князь.

Правитель поклонился и вышел.

Старик начал как бы рассуждать сам с собой:

— Сподвижник был большой... звание вольного каменщика имел... Сперанский¹ лучшим другом считал его себе... но паче того я покойницу мать ее любил: святая была женщина... Все-то это как-то прошло и миновалось, пора бы и моим старым костям на покой!..

Ухмырев в это самое время, ничего не подозревая, что его ожидает, был с Авдотьей Егоровной на обеде у доктора. Вдруг, говорят, городничий приехал и спрашивает его.

— Что такое?

— Князь, — говорит тот, — будут к вам сегодня вечером.

Алексей Сергеич выпучил глаза.

— Как, когда? — спросил он задыхающимся голосом.

— Сегодня вечером, — повторил городничий.

Алексей Сергеич схватился за косяк, чтобы не упасть.

— Как же это так? — бормотал он, как бы не веря ушам своим.

— Да так, поезжайте домой! — внушал ему городничий.

Алексей Сергеич, сколько лишь достало у него силы совладеть с собой и прогнав с лица малейший оттенок удовольствия, возвратился в залу и проговорил даже несколько сердитым голосом:

— Сейчас ко мне князь сам напросился на вечер.

— Князь? — спросили в один голос хозяин и некоторые другие мужчины.

— Да, надобно ехать домой — такая досада! — произнес Ухмырев, маскируя отчаяннейшим образом все, что происходило у него в эти минуты в душе.

— Поезжайте, поезжайте! Как это возможно! — советовали ему хозяин и гости, не без зависти и очень хорошо, кажется, понимавшие, на каком седьмом небе был теперь этот честолюбец.

Алексей Сергеич вызвал Авдотью Егоровну и, шепнув некоторым из гостей позначительнее, чтоб к нему приехали, отправился.

Обещание князя приехать к Ухмыреву совершенно расстроило именинный праздник доктора. Более значи-

¹ Вольные каменщики или масоны — в конце XVIII и начале XIX века оппозиционные дворянские организации. Сперанский М. М. (1772—1839) — видный государственный деятель при Александре I.

тельные лица, приглашенные Ухмыревым, передали это по секрету своим дражайшим половинам, из числа которых некоторым очень захотелось ехать вместе с супругами, но те решительно отказали им в этом на том основании, что вечер будет мужской. Но как бы то ни было, все они скоро уехали. Оставшиеся гости, недовольные Алексеем Сергеевичем, были не в духе, так что решительно не могли составить танцы, к крайнему сожалению Степана Гарасимыча, которого Алексей Сергеевич тоже не позвал; но он, увидев, что все гости разъезжаются и что сам хозяин думает вечером попозже отправиться к Ухмыревым, не стеснился этим и решился тоже ехать туда.

Возвратясь домой, Алексей Сергеевич пришел в ужасные хлопоты: во-первых, он велел снять чехлы со всей мебели и натереть полы воском; у Авдотьи Егоровны взята была склянка с весьма дорогими духами, которыми и велено было лакею, как приедет князь, курить. С поваром Ухмырев тоже очень долго совещался и ему низко-низко кланялся и просил его бога ради не испортить мороженого. Очень также Алексея Сергеевича беспокоило, чтобы Вера Павловна вышла, и это взялась устроить Авдотья Егоровна. Вера, впрочем, услышав о приезде князя, объявила, что она непременно выйдет. Избранные гости начали мало-помалу собираться. Часу в девятом карета князя подъехала к крыльцу. Хозяин некоторое время недоумевал, где ему встретить гостя: в лакейской или на лестнице. Авдотья Егоровна, по предварительному совещанию с мужем, вышла на половину залы.

Князь, сутуловатый, мрачный, во фраке с двумя звездами и с каким-то спокойствием и самоуверенностью в движеньях, вошел.

Алексей Сергеевич запрыгал перед ним собачкой на задних лапках.

— Позвольте мне рекомендовать мою жену, ваше сиятельство! — забормотал он.

— Честь имею представиться, сударыня. Я очень хорошо знал вашего брата и весьма обрадовался, услышав, что дочь его у вас живет.

— Князь! вы так обязательны, — жеманно начала Авдотья Егоровна.

Но Алексей Сергеевич ей мигнул, и она просила гостя в гостиную.

— Наша племянница, князь, — сказала она, указывая на Веру.

— Здравствуйте, Вера Павловна! — сказал тот, протягивая девушке руку. — Как вы выросли и еще более похорошели; узнали ли вы меня? Помните ли вы, как я часто у вас бывал? Я душевно порадовался, услышав об вас.

— Я очень помню вас, князь; у меня еще и до сих пор есть книга, которую вы мне подарили, — отвечала Вера с пылающим от невольного стыда лицом.

Алексей Сергеич и недоумевал и был в восторге. Князь между тем сел на диван и, усадив с собой Веру, стал с ней разговаривать об отце, его сочинениях, ученых трудах, о том, что она сама теперь читает, рисует ли, не оставила ли музыку и т. п.

Авдотья Егоровна делала всевозможные усилия, чтобы участвовать в их разговоре; но ей никак это не удавалось.

Алексей Сергеич решительно не находил, как ему себя держать. По всем соображениям, он бы, как глава в доме, должен был занимать князя, и тот с ним бы должен был говорить, а никак не с Верой; но князь в продолжение целого вечера не удостоил его словом, а заставил стоять перед собой истуканом, потому что отойти он не мог, считая это, как хозяин, за невежливость, но вмешаться в разговор тоже не было никакой возможности, потому что говорили о таких отвлеченных предметах, о которых Алексей Сергеич даже во всю свою жизнь и не слыхивал. Князь, может быть, проговорил бы целый вечер с Верой Павловной, и прервать его, конечно, никто бы не решился, но это сделал Степан Гарасимыч. Молодой человек вошел, по обыкновению, очень свободно, расшаркался перед Авдотьей Егоровной и, увидав Веру, очень обрадовался: он не видал ее недели две. Вера при нем не выходила. Не женируясь нисколько присутствием князя, Степан Гарасимыч подошел к предмету своей любви и уселся около него.

— Вы были больны? — начал он.

Вера улыбнулась; Алексей Сергеич нахмурился; Авдотья Егоровна готова была упасть в обморок.

— Вы были больны? — повторил Сальников. — Молодым девицам стыдно хворать, — прибавил он.

— Кто это такой? — спросил князь Веру по-английски.

— Дурачок один — Сальников.

Князь внимательно посмотрел на него.

— Я, ваше сиятельство, перед вами виноват, — адресовался вдруг к нему Степан Гарасимыч, — до сих пор еще не явился к вам...

Князь только осмотрел его с ног до головы, но ни слова ему не ответил.

Степочка этим, однако, нисколько не сконфузился.

— Мы так давно не танцевали, — отнесся он к Вере.

— А вам хочется? — спросила та.

— Весьма желал бы.

— Танцуйте.

— Но я один.

— Так что ж: одни танцуйте; к вам это очень будет идти.

— Позвольте принять ваши слова за насмешку: я не могу один танцевать, — это только простолюдины одни пляшут.

— Вы, может быть, русскую умеете?

— Да, конечно, я пляшу ее самоучкой; но в обществе этот танец не принят.

— Ничего. Попляшите теперь.

— Madame! вы всё шутите.

Как князь ни был серьезен, как ни неприятно, кажется, было ему, что Степочка подсел к Вере Павловне, но на этом месте он не удержался и усмехнулся; Вера тоже; она встала и ушла. Степочка адресовался было опять к князю с разговором, но тот опять ни слова ему не ответил. Алексей Сергеич, как после рассказывал, истерзался в этот вечер. Сиятельный гость явно показывал, что он приехал для одной Веры Павловны, потому что почти все и говорил с ней одной и частью с Авдотьей Егоровной, но с ним почти ни слова. Слабоумный Сальников постоянно вмешивался в разговор и постоянно врал; прочие гости стояли, как деревянные чурбаны; мороженое тоже не удалось. От ужина князь отказался.

— Для чего я убыточился? — говорил после Алексей Сергеич. — Худо ли, хорошо ли, но все-таки пятьдесят серебром издержал: одного клико было четыре бутылки заморожено; наконец, был подаваем в четыре рубля серебром лафит... для здешних-то господ? Как же! им власть и полтинная мадера.

Подобного рода расчетливость Алексей Сергеич обнаружил еще первый раз в жизнь свою, и обнаружил ее

только под влиянием сильнейшей досады на то, что именитый гость вел себя в его доме совершенно не так, как он желал и даже предполагал.

Перед ужином князь спросил Веру, кто такой Шамиллов.

Девушка, конечно, сконфузилась.

— Мне его очень хвалили, — продолжал старик, — бы с ним желал познакомиться. Он, верно, бывает у вашего дяди. Скажите ему, чтобы он приехал ко мне.

Вера молчаливым и сконфуженным взглядом поблагодарила князя.

Уезжая, он взял с Авдотьи Егоровны честное слово приехать к нему с племянницею на целый день. Алексея Сергеича пригласил как-то он двусмысленно, а Степочке даже не поклонился, со всеми же другими гостями поговорил хотя немного, но ласково.

VI

В последнее свидание Вера еще более очаровала Степочку, потому что в этот вечер была действительно очень интересна; но более того: она говорила и шутила с ним, чего прежде никогда не случалось. На другой день Сальников решил, во что бы то ни стало добиться толку от Алексея Сергеича, который с некоторого времени как-то отмалчивался и не говорил ничего определенительно. Он отправился к Ухмыреву еще довольно рано и застал того в кабинете за чаем в весьма дурном расположении духа от вчерашнего посещения князя.

— Я к вам, — начал Степан Гарасимыч.

— А что?

— Все насчет того.

Алексей Сергеич покачал головой.

— Насчет того... все еще ничего.

— Как же это! Мне надобно к маменьке писать.

— Напишите ей, что покуда еще ничего.

— А долго ли?

— Что-с?

— Ждать?

Алексей Сергеич пожал плечами.

— Не знаю.

— Год, что ли?

— Не менее.

— Это долго: нельзя ли полгода?

— Нет, полгода мало.

— А год очень долго.

— Что делать!

Вот все, что сказал Ухмырев, несмотря на то, что Степочка, по нецеремонности своей, делал весьма прямые вопросы и даже спрашивал, наградит ли Алексей Сергеич сам чем-нибудь Веру Павловну, — но и на это получил весьма двусмысленный ответ. Сколько я с своей стороны понимаю Ухмырева, то он, приняв первоначально в деле сватовства богатого жениха такое живое участие, в настоящее время значительно ослаб: во-первых, потому, что встретил в Вере решительный отпор, а во-вторых, и сам лично был очень занят приездом князя. Сальников возвратился к себе в квартиру расстроенный: его очень пугал дальний срок, который назначил ему Алексей Сергеич, тогда как он ощущал непреодолимое желание иметь подругу жизни, отдавая, конечно, Вере Павловне в этом случае перед всеми другими девицами преимущество. Усевшись и закурив трубку, он предался тихой грусти, а потом ему пожелалось излить свою душу перед себе подобным, и на этот предмет позвана была Аксинья, на которую городская жизнь оказала заметно большое влияние: с лица ее прошел загар; являясь к барину, она надевала свой ситцевый сарафан и уже не бранилась с Кузьмой, но, напротив того, начала заступаться за него перед господином.

— Что прикажете? — спросила она.

— Так: ничего! поговорить позвал, — начал Степочка грустным голосом. — Барышня-то... помнишь, о которой я тебе говорил? плохо...

— Что же, батюшка?

— Да так: проволочка одна только идет. На год теперь откладывают.

— Вишь ты какое дело, — проговорила Аксинья, качая головою.

— Я вот теперь думаю, что они важничают: у меня невест будет.

— Вестимо-с, что об этом беспокоиться: невесты будут.

— Им вот наградить не хочется: приданого, видно, жаль; а мне, прах их возьми, иное сказать. У меня у

самого шестьсот душ, за меня купчиха богатая пойдет, а не то что...

— Как вам там, Степан Гарасимыч, будет угодно, — перебила Аксинья, — а мы вот и с Кузьмой переговаривали: имения за этой барышней никакого нет, ихние люди даже об этом болтают. Разве уж она вам собой больно по нраву пришла, а уж больше ничего нет-с.

— В том-то и штука, что лицом понравилась, а им небось жаль награды, ну так скажи: я бы ее без всего взял! Она прехорошенькая... Ты видала ее?

— Нет-с, не видала. Кучера ихнего Кузьма показывал, а барышню не видала.

Степан Гарасимыч задумался.

— Осмелюсь я вам, батюшка, доложить, — начала несколько таинственным тоном Аксинья, — не знаю, послушаетесь ли вы моего глупого совета, а я бы вам сказала: ежели вам теперь насчет этой женитьбы очень так желается, поворожитесь вы у одной здесь женщины; она от нас, из Зеленцына; здесь теперь в мещанстве приписана, бесподобно угадывает и привораживает отлично. Вы, я думаю, изволите знать у Веденея сына, что на богачихе терентьевской женат: ну так тоже вначале никак ладу не было: уж как доставалось ей, сердечной!.. Приворожила-с: теперь не наглядится, — в Питер даже перестал ходить, все ему тошно по ней.

— А что, и в самом деле! да не страшно ли? — спросил Степечка.

— Ничего нет страшного. Сначала она, доложу вам, пива потребует и погадает на пиве, спрыснет, может быть, потом вас с камешка, а тут и на ветер чего-нибудь пустит... Только бы взялась, а дело сделает. Я ее, Степан Гарасимыч, на себе испытала: тоже вот здесь с маменькой вашей приезжала, так полотенцы пропали у нас, — сразу отгадала: ни на кого, говорит, Аксиньюшка, и сомнения не имей, как на беловолосого парня... на Григорья покойника, изволите видеть, намекала; в тот же вечер у него, разбойника, в сумке и нашла-с.

— Как же это сделать?

— Она сюда придет.

— Сходи.

— Слушаю-с.

— Теперь же сходи.

— Слушаю-с.

— Да не дорого ли она возьмет?

— Нет-с, не дорого: трехгривенный, так за глаза будет довольно.

— Ну, ступай.

Аксинья отправилась.

Решившись обратиться к чародейству, Степан Гарасимыч начал чувствовать некоторый страх. Надобно сказать, что герой мой искренно верил во все то, что рассказывалось по избам, и ради того часто ходил туда в осенние и зимние вечера и нарочно заставлял старух рассказывать ему про «страшное». В сказки он тоже почти безусловно верил и некоторые из них даже сам очень недурно рассказывал. Иван-царевич, Царь-девица, Жар-птица, Соловей-разбойник были для него такие же несомненные исторические лица, как для нас Кромвель¹, Ришелье² и Фридрих Великий³. Вовсе не быв трусом, он ни за что бы в свете не решился, в силу известного поверья, ночевать в бане.

Ворожея явилась в сопровождении Аксиньи. Это была полная, краснолицая мещанка, с плутоватым лицом, в сарафане и в душегрейке. При входе первым ее делом было посмотреть, не натоптала ли она в комнате.

— Ты мне погадаешь? — начал Степочка.

— Можно, — отвечала она.

— Ну, а этак?

— Приворожить, Секлетея Дмитриевна, надо, — вмешалась Аксинья.

— Можно, — отвечала Секлетея.

— Ну, ворожи, — сказал Степочка.

— Денег, барин, наперед дай, а тут уж и спрашивай. Я тебе скажу откровенно, — колдун, что коновал: без денег ни ступит ни шагнет, — по рублю ходит, на рубле сидит, на полтину глядит, за червонец говорит.

— А много ли тебе?

— С богатого барина надобно брать больше! Поначалу давай целковый, а как дело будет на мази, полтинник еще на чай.

¹ Кромвель Оливер (1599—1658) — крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII века.

² Ришелье (1585—1642) — французский государственный деятель.

³ Фридрих Великий (1740—1786) — прусский король.

У Степана Гарасимыча вытянулось лицо.

— Ну, этого много. За что же это?

— За твое благополучие, барин, за твое единственное счастье пойдут эти деньги. Не жалея серебра, коли хочешь жить в золоте. Ты богат, умен и талантлив; одно только у тебя есть: на деньгу ты больно крепонек! Не принесет тебе она счастья: весь свой век ты промаешься, если так себя поведешь!

— Ну, да ты уступи что-нибудь, — вмешалась опять Аксинья.

— Не могу, голубушка, никак не могу. Кабы просто свадьба шла, можно; а тут другой человек действует.

— Ну на, возьми, пожалуй, — сказал Степочка и с очень недовольною миною, вынув из кошелька целковый, подал его Секлетее Дмитревне.

Та, получив деньги, потребовала бутылку пива, которую Аксинья уже купила. Вылив всю ее в полоскательную чашку, она начала смотреть внимательно на поверхность жидкости... Степочка и Аксинья замерли в страхе, который еще более усилился, когда Секлетее заговорила каким-то неестественным голосом:

— Расступаются туманы, расходятся облака, дело на виду: между парнем и девицей большая река: то не самая река, а злой человек. Парень с девицей собрались в одну дорогу, только вместе ехать им нельзя. Высохни ты, река! пропади ты, злой человек! я не высохну — река, не пропаду — я, злой человек... Парню денег не надобно жалеть: сыщет он гребцов, сыщет перевозчиков. Переедет он к красной девице, и поедут они в одну дорогу, — дорогу дальнюю... Ну, барин, рассмотрела я твое дело: дело трудное! Кабы знала, не взяла бы с тебя я рубля серебром.

Проговорив эти слова, Секлетее Дмитревна выпила всю чашку.

— Ну, а как там-то, потом-то что же? — спросил Степочка.

— Ты, Секлетее Дмитревна, о барышне что-нибудь скажи, — проговорила Аксинья.

— Я, Аксиньюшка, все свое сказала, — отвечала та, — а там, как знаете, так и делайте.

— Нет, уж ты скажи появственнее: ты ведь все знаешь, — просила Аксинья.

— Знаю-то, конечно, что знаю, но за другое-то, милушка, и плата другая идет по нашему ремеслу, — возразила Секлетей.

— Да что ты тут все о плате толкуешь! Тебе, видно, денег только выманить хочется! — заметил Степочка.

— Нет, барин, ты этого не говори: не обижай меня; приворот я тебе, пожалуй, дам, но только он тут недействителен.

— Ты уж там как хочешь, Секлетейа Дмитревна, а на ветер пусти, — проговорила Аксинья.

— На ветер пустить — дело неважное, да неверно: ветер — ветер и есть! Я тут другое сделаю: вот тебе, барин, крючок, — сказала Секлетейа Дмитревна и вынула из кармана косточку, которая очень походила на щучью челюсть. — Зацепи ты этим крючком свою голу-бушку и держи ты ее ровно час и все гляди на восток: продержишь — дело сделается, не продержишь — сам виноват; и достань после этого из-под ее следа земли и усыпи ты той землей от ее светлицы до своих покоев всю дороженьку. Возгрустит она о тебе пуще чем по отце и по матери и придет она сама к тебе вольной неволею. Ну, а больше говорить ничего не могу; как хотите, так и судите.

— А как же ты, Аксинья, говорила, что она меня с камешка умоет! — произнес Степан Гарасимыч.

— Умой его, Секлетейа Дмитревна, с камешка: это помогает, — отнеслась Аксинья к ворожее.

— Помогать-то, конечно, оно помогает, — отвечала та, — да только дело это не такое: кабы с чьей-нибудь стороны оговор был, так так; а тут оговора никакого нет: в деньгах тут сомневаются, прямо вам скажу.

— Полно, матушка, умой, — все лучше.

— Эхе-хе-хе, благодетели мои, не под стать бы мне за этакую цену всего мастерства своего показывать... люди-то только вы хорошие, делать нечего... Давай воды.

Вода была подана в той же чашке. Секлетейа Дмитревна вынула из кармана два дикие кругляка, прошептала что-то над ними и, положив их в воду, еще пошептала, а потом, поставив Степана Гарасимыча лицом к западу, начала его умывать своею рукою, как обыкновенно умывают маленьких детей няньки; набрала затем себе в рот воды, и спрыснула его три раза, и крепко наказала,

чтобы он не утирался и даже три дни не умывался никакой другой водой.

Между тем Вера Павловна была под влиянием совершенно иных чар. Она целое утро думала о Шамилове и в полдень отправила к нему письмо: «Вчера у дяди был князь Сецкий. Он прежде был очень дружен с папенькой, и расспрашивал меня об вас, и потом сказал мне, что желал бы с вами познакомиться. Поезжайте к нему сегодня же: он очень может быть полезен для нас».

Подобного рода внимание со стороны князя, кажется, весьма польстило самолюбию Шамилова; он тотчас же оделся в лучший свой фрак и отправился.

Князь был один. Шамилов отрекомендовался; старик осмотрел его с ног до головы и, повидимому, остался доволен наружностью молодого человека.

— Мне очень приятно, что вы посетили меня, — сказал он, указывая гостю на ближний стул.

— Я слишком высоко ценю внимание вашего сиятельства, — начал Шамилов.

— Мое внимание, — перебил князь, — проистекает из тех причин, которых вы, вероятно, в настоящую минуту и не подозреваете... Вы служите где-нибудь?

— Нет-с, я еще учусь и готовлюсь на степень кандидата.

— А вы были в университете?

— Был.

— Отчего же вы там не получили этой степени?

Шамилов немного смешался.

— Вероятно, ленились, — прибавил князь с улыбкою.

— Отчасти ленился, но главное: учился не тому, чему бы следовало, — ответил молодой человек.

— На каком же вы были факультете?

— На словесном, но на втором курсе увлекся энциклопедией правоведения и получил из статистики единицу: меня не перевели, а я, вместо того чтобы исправиться, пристрастился к математике и в один год прошел весь курс; потом...

— Потом вас опять не перевели, и вы вышли: это нехорошо.

— Более чем нехорошо, князь! я слишком наказан за мои ошибки... что делать! Для меня все науки были так увлекательны, что я никак не мог сосредоточиться на ис-

ключительном занятии определенными предметами. Специальность дается в позднейших годах и достигается усиленным трудом.

— На чем же вы теперь, по крайней мере, сосредоточились?

— Теперь я занимаюсь своим факультетом и куда готовлюсь к экзамену.

— А дальнейшая ваша цель какая?

— Быть ученым!

Старик посмотрел на молодого человека внимательно.

— Не привязывает ли вас здесь что-нибудь? — проговорил он.

Шамилов вспыхнул, но, впрочем, отвечал довольно бойко:

— Во имя здешней привязанности, ваше сиятельство, я и желал бы трудиться. Личные мои желания умеренны: сотня новых книг в год — и я буду счастлив.

Старик опять посмотрел на него пристально.

— Вы мне нравитесь, — начал он, нахмуривая брови, — и советую вам не чуждаться меня: я могу быть вам полезен и имею особые причины, по которым желаю принять живое участие в вашей судьбе. Говорят, вы очень бедны?

— Беден, князь, — отвечал Шамилов с благородством.

— Есть ли у вас книги, все, какие вам нужны по вашим занятиям?

— Книги у меня все есть.

Князь задумался.

— Мне все досадно, отчего вы не вышли кандидатом! — начал он. — Теперь уж вам немножко поздно на это готовиться; надобно бы что-нибудь другое делать. Вы, вероятно, прежде шалили, мотали? У вас чрезвычайно подвижная натура.

— Мотать, князь, я не мог, потому что мотать мне было нечего; но я постоянно увлекался то тем, то другим. Я был меломаном, театралом, считал самого себя за великого актера и потому изучал Шекспира.

Князь улыбнулся.

— Основательно ли вы учены; знаете ли вы языки? — спросил он.

— Учености моей я определить не могу, но с языками знаком. Я знаю латинский, греческий, французский, немецкий и английский.

— Хорошо, очень хорошо.

— Последнее время, — начал Шамилов, — я много занимался греческим языком, и меня теперь мучит желание написать греческую драму.

— Это что еще такое?

— В настоящее время, князь, я не могу вам сказать ничего, потому что сам еще не убежден в достоинстве моего труда.

— Ну нет, покуда вы все эти драмы оставьте, а займитесь вашим факультетом и окончательно пристройтесь.

Затем следовала беседа, не касающаяся непосредственно моего рассказа. Князь оставил Шамилова обедать.

Разговор переходил между ними с предмета на предмет. Старик, кажется, испытывал молодого человека: он то заговаривал с ним по-английски, то вдруг останавливался на каком-нибудь историческом событии и просил ему напомнить подробности этого происшествия. Молодой человек отвечал довольно ловко и только в английском языке очень затруднился.

— У вас по преимуществу развита диалектика, — сказал князь, — но по-английски вы говорите плохо, вы не знаете этого языка. Извините, что я говорю вам прямо.

— Я давно, князь, оставил этот язык, особенно в последнее время.

Перехожу, однако, к другим лицам моего романа.

Авдотья Егоровна предполагала было ехать к князю с Верою через два дни и думала, что Алексей Сергеич тоже поедет с ними, но только что заговорила ему об этом, как он надулся, встал и начал ходить по комнате.

— А ты, cher Alexis, поедешь? — спросила добрая дама нетвердым голосом.

— Нет-с, — отвечал тот.

— Отчего же, cher ami, князь был так внимателен к нам.

Алексей Сергеич насмешливо улыбнулся.

— Поезжайте, а меня уж он подождет: мне самому пятьдесят лет! — отвечал Ухмырев и ушел в другую комнату.

Авдотья Егоровна поняла, что муж ее недоволен князем, и в душе своей соглашалась, что тот вел себя не совсем деликатно с Алексеем Сергеичем.

— Тебе, Alexis, может быть, неприятно, что и я поеду?

— Это ваша воля.
— Я не поеду!
— Кажется бы, так следовало.
— Но как же Вера?
— Пускай едет одна: не съедят.
— Но она этим огорчится.
— Не беспокойтесь: не огорчится! Мы-то желаем быть с ней, а она думает, как бы дальше от нас.

— Я не поеду, — ответила Авдотья Егоровна и действительно не поехала.

Сославшись на головную боль, она уговорила Веру ехать одну.

Князь встретил молодую девушку очень радушно.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть автора недавно полученного мною письма, — проговорил он.

Вера очень сконфузилась и едва имела силы проговорить:

— Да, князь!

— Я видел его вчера, — продолжал он, не спуская с нее пристального взгляда, — он мне понравился: молод еще очень, но со способностями...

— Я рада, что он вам понравился... — проговорила, наконец, Вера.

Лицо ее уже окончательно горело, и голос дрожал.

— Отчего же он вашим родным не нравится? — спрашивал князь.

— Дядя и тетка, — начала Вера, — смотрят на жизнь иначе: они полагают, что все счастье женщины состоит в деньгах.

— Ну, а вы как думаете, в чем состоит счастье?

— В любви и уважении мужа.

— А жить чем же?

— Трудami.

— А дети будут?

— Надобно трудиться больше.

— Стало быть, вы непременно решились выйти за этого молодого человека?

— Непременно, князь.

— Но у него еще звания никакого нет, он даже чина не имеет.

— Пусть получит чин и звание, я буду дожидаться.

— Этого он не скоро может достигнуть.

— Хоть бы всю жизнь.

— И вы все будете его любить?

— Или его, или никого.

— Bravo! — сказал князь. — Вы говорите смело, выдержите ли только?

Далее разговор продолжался в том же тоне. Вера разговорилась: подробно рассказала о своей жизни у дяди и тетки, рассказала также и о Степочке, который князю очень не понравился. Она не скрыла даже и того, что Алексей Сергеич, не получивший от князя исключительного внимания, очень обижается и огорчается этим...

— Он такой мелкий человек, — заключила она, — что ежели вы вот теперь... так как вы сенатор и князь, хоть слово ему скажете, он все сделает по-вашему; поговорите ему, князь, обо мне и об Шамилове.

Старик усмехнулся.

— Извольте, для вас приласкаюсь к нему! Поедет ли только он теперь ко мне?

— Не знаю, князь, он думает, что не нравится вам.

— А если я ему напишу поласковее письмецо?

— В таком случае сейчас приедет.

— Вы думаете?

— Даже уверена.

— Я сейчас же напишу; вы ему и отдайте.

Проговоря эти слова, князь спросил себе бумаги и тут же написал к Алексею Сергеичу письмо, которое прочитал предварительно Вере.

«Почтеннейший Алексей Сергеич! — писал он, — я желаю и имею надобность с вами видеться и переговорить об обоюдно для нас интересном деле. Будьте столь добры, посетите меня и извините великодушно старика, что не еду сам к вам, а вас беспокою. Мне все нездоровится. Остаюсь в ожидании приятного свидания с вами.

К. Сецкий».

«P. S. Я весьма сожалею, что вы и ваша супруга не пожаловали сегодня вместе с вашею племянницею».

Записка эта произвела на Алексея Сергеича сильное впечатление, и на этот раз он уж не в состоянии был скрыть овладевшего им чувства удовольствия.

— Князь, видно, что умный и добрый человек, но странный!.. По наружному обращению никак нельзя этого догадаться, — говорил он Авдотье Егоровне.

— Я тебя уверяла, что он добрейший человек, — возразила Авдотья Егоровна.

— Согласен; но зачем же маску носить? с ним можно одурачиться! Не получи я этого письма, я был бы в дураках: я бы думал бог знает что, мне и в голову бы не пришло, что он будет жалеть, что мы не приедем.

— А я напротив: я прежде это знала, — заметила Авдотья Егоровна.

— Я решительно не знал; я думал, что пройдет это так: он и не заметит. Вот мое правило, и хорошо: везде дать свой тон... Теперь он и видит, что я заискивать не люблю. По-настоящему, я сегодня же должен бы был ехать к нему, да поздно — завтра уж утром пораньше.

На другой день Ухмырев поехал к князю в полном смысле баринном: цугом, в шегольской коляске на лежащих рессорах. У него вообще выезд был отличный. На себя он надел ильковую шубу в тысячу рублей серебром, купленную собственно для произведения эффекта, и ужасно разбранил лакея, одевшегося в старую ливрею. Усевшись в экипаж, он развалился.

— Извините меня, Алексей Сергеич, — заговорил князь после обычных приветствий, — что я вас обеспокоил. Мы имеем с вами общее дело, которое близко моему и, вероятно, вашему сердцу.

— Я почту, ваше сиятельство, за счастье... — начал Алексей Сергеич.

— Вы уж знаете, — продолжал старик, прерывая его, — что племянница ваша дочь моего друга: в судьбе ее я бы желал принять самое живое участие.

— По своим родственным чувствам, сколько могу... — начал было опять Ухмырев, но хозяин снова перебил его.

— Обязанность родственника вы исполняете добросовестно, это я слышал от нее и от прочих, и это делает вам честь; но мне кажется, что надобно подумать, как бы упрочить и дальнейшую судьбу ее. Она бедна, старик ей, верно, ничего не оставил. Перед смертью обстоятельства его были очень расстроены, — это я верно знаю.

— Если позволите сказать мне с моей стороны, то я имею состояние, — это все равно: она взята нами за дочь, — проговорил Алексей Сергеич и остановился; но князь молчал. — Она наследница всего нашего состояния, — прибавил Алексей Сергеич несколько странным голосом.

— Если это так, то вы, вероятно, не стеснитесь, если бы выискался для нее жених, который бы ей нравился, но который был бы не богат.

Алексей Сергеич замялся.

— По нашим чувствам мы бы желали, чтоб то и другое было... — пробормотал он.

— Но если того и другого нет, так тут как?

Ухмырев пожал плечами.

— Будемте говорить откровенно, — начал князь. — Во-первых, Веру пора выдать замуж: ей уж двадцать пять лет; и я слышал, что у нее теперь есть два жениха: один — богатый, который нравится вам, а другой — бедный, по сердцу ей; и я полагаю, что последнему надобно отдать преимущество.

— Я не смею с вами спорить, ваше сиятельство, но скажу как дядя, что партия эта безвыгодна.

— Но если уж ваша племянница полюбила его? если уж она сама себе сказала, что хочет быть женой его, а не другого, тут как делать?

— Молодые девушки по своей неопытности... Она сама, может быть, на этот предмет взглянет иначе. Любовь пройдет, и тогда...

— Нет-с, это не так, — перебил князь, — мне кажется, что Вера Павловна одна из тех женщин, которые не в состоянии дешево променять свои привязанности. Вы ошибаетесь в ее сердце. Она мне здесь, на этом стуле, на котором сидите вы, говорила: «Если мои родные будут противодействовать этому браку, я их не послушаюсь и выйду замуж, хоть бы мне в этом случае угрожала даже бедность».

— Я дядя, а не отец: я могу только советовать. Молодой человек — пустой.

— Это уж вы слишком сказали! он только молод. Я на вашем месте не противился бы прямо этому браку, но посоветовал бы молодому человеку получить предполагаемую им степень кандидата, вступить на службу, а потом бы и обвенчал их.

— С своей стороны, ваше сиятельство, я совершенно согласен. Для меня нужно только ее счастье, — отвечал, пожимая плечами, Алексей Сергеич. — Я сам бедняком женился, и жена моя счастлива.

— Ну, вот видите! стало быть, пример под руками: что же вас затрудняет?

— Я желал бы только партию более выгодную.

— Ну, а если ее нет?

— Я согласен и по душе своей говорю: дай бог ей счастья. Я даже, ваше сиятельство, свое состояние готов с ней разделить. Мы с женой бездетны: нам немного надо, — мы с собой в могилу не возьмем. Нам только теперь надо думать, чтобы там, впереди, устроить себе место.

При последних словах Алексей Сергеич так расчувствовался, что на глазах его даже навернулись слезы.

Пробыв у князя еще часа три, он уехал, совершенно очарованный его вниманием и ласкою, и только, сев в коляску и получив несколько толчков, вспомнил одно обстоятельство, которое заставило его призадуматься и, можно сказать, отравило эту счастливую минуту жизни. Выдать Веру за Шамилова он был готов, хотя это и противоречило его убеждениям, но, умилившись в разговоре с князем, он проговорился, что готов отдать Вере половину своего состояния в приданое. Исполнить же это на деле, по многим обстоятельствам, о которых мы узнаем впоследствии, было для него весьма затруднительно. Он, впрочем, заехал к Шамилову, которого не застал дома, и велел ему передать приглашение посетить его вечером. Возвратясь домой, он передал весь разговор с князем Авдотье Егоровне. Добрая дама первоначально очень обрадовалась, узнав, что Алексей Сергеич переменял свои намерения касательно замужества Веры, но статья о приданом и ее несколько обеспокоила, и она посмотрела на мужа с некоторым удивлением.

— Но как же это, друг мой, возможно ли нам это сделать? — заметила она.

Алексей Сергеич вздохнул.

— Проговорился — что делать! Обольстил уж очень, старая лисица. Придумать не могу, как бы отделаться... Иваньково — нельзя! совсем без хлеба будешь, да и закладная... — произнес Ухмырев и опять вздохнул.

— Иваньково невозможно, душа моя.

— Да вот оно роденька-то — хлопочи с ними, обрывай себя, — хуже собственных детей!

Авдотья Егоровна взглянула на мужа нежно.

— Мне не жаль-с, — возразил Алексей Сергеич, — мне даже для себя было бы приятно это сделать...

Саратовскую деревню разве отдать: третий год уж ничего не получаем.

— Конечно, саратовскую удобнее всего, — подтвердила Авдотья Егоровна.

Переговорив таким образом с женою, Ухмырев до самого вечера сидел в своем кабинете и о чем-то размышлял.

Шамилов, несмотря на сильный дождик, явился вечером. Хозяева, по обыкновению, играли в карты. Степан Гарасимыч присылал было своего мальчишку просить Алексея Сергеича прислать за ним экипаж, потому что очень желает быть у них, но, по случаю дурной погоды, пешком прийти было невозможно, собственные же дрожки изломались. Дрожки не то что сломались, а они попросту совершенно развалились, вследствие того что Кузьма под сердитую минуту не пожалел Рыжки, что есть духу проехал на них по мостовой и сразу покончил их существование. Призванный на другой день кузнец не взялся починить экипаж и советовал отдать его в лом.

Алексей Сергеич поступил в этот раз с Сальниковым совершенно неделикатно. Он велел ему сказать, что прислать за ним не может, потому что у него лошади раскованы. Одним словом, ход моего романа с этого дня изменился совершенно. Шамилов целый вечер просидел с Верою в наугольной комнате, почти вдвоем; к ним только по временам ходили Авдотья Егоровна и Алексей Сергеич, и оба, особенно первая, смотрели на молодых людей с какою-то родительскою нежностью. Ухмырев простер свое внимание к Шамилову до того, что выслушал с любопытством и с довольно глубокомысленным видом, когда тот рассказывал процесс m-me Лафарж¹.

О чем говорили молодые люди, оставаясь наедине, передать трудно: речи их были совершенная бесскладица, так что в печати они потеряли бы всякий смысл. Но при всем том они, право, были счастливы. В разговорах их князь являлся каким-то добрым, могущественным гением, готовым и способным сделать все для их счастья, а Алексей Сергеич и Авдотья Егоровна — добрыми и идилли-

¹ Судебный процесс по обвинению Марии Лафарж в отравлении мужа состоялся в Париже в 1840 году. Сенсационными сообщениями о нем была переполнена вся европейская пресса. На суде М. Лафарж отрицала свою виновность, так же как и в мемуарах, опубликованных после ее смерти. Пересмотр процесса уже в XX веке установил ее невиновность.

ческими существами. Но, впрочем, яснее и понятнее всяких слов говорило задушевное выражение их молодых лиц: Вера, кажется, была в такой мере преисполнена внутренним счастьем, что у ней даже захватывало дыхание... Боже мой! сколько нежности, сколько чувства выражали ее прекрасные глаза! Что касается до Шамилова, то он не умолкал: перспектива будущего счастья была им нарисована с величайшими подробностями: любовь, науки, искусства, труды, избранный кружок добрых и умных друзей и даже деньги, — ничто не было забыто, и все это как будто бы уже было у него под руками.

VII

На другой день Вера получила от князя письмо, в котором он буквально передавал ей разговор с Ухмыревым. Первым делом молодой девушки было идти к дяде, который в это время сидел у себя в кабинете.

— Вы, дядя, вчера говорили с князем? — начала она, но продолжать была не в состоянии: слезы захватывали у нее дыхание, и она бросилась ему на шею.

Алексей Сергеич с большим чувством прижал ее к своей старческой груди и сам прослезился.

— Кто вам это сказал? — говорил он, утирая слезы.

— Я от князя получила письмо.

— Что ж он пишет?

— Он обо всем мне пишет, — отвечала Вера. — Я, дядя, перед вами виновата: я не думала, что вы меня так любите! Простите меня! — прибавила она и снова его обняла.

— Вы не так меня понимали: это оттого-с. Мне нужно только ваше счастье, а больше ничего. Мне очень приятно, что князь принимает в этом участие. Теперь он понял меня, — доволен ли он мной? Заметно ли это из письма, что он мной доволен?

— Доволен, дядя.

— Я это знаю. Сходите к тетке и приласкайтесь к ней, но только без слез, а то у нее, знаете, опять, пожалуй, истерика.

Вера повиновалась: вошла к тетке с веселым видом и обняла ее; но слезы невольно показались на глазах. Добрая т-те Ухмырева, конечно, была не в состоянии

перенести равнодушно этой сцены и тотчас же впала в сильнейшую истерику; но это была, как она сама после говорила, самая приятная в жизни ее истерика. Когда все более или менее успокоились, Алексей Сергеич приступил к делу, и из последующего разговора мы увидим, что он решился действовать совершенно согласно желаниям князя.

— Теперь-с я буду говорить, — начал он. — Вы, Вера Павловна, влюблены... прекрасно... слово дать можно; но у него еще службы нет: ему надобно службу найти, а там и обвенчаесть, — я говорю прямо... я не могу говорить пристрастно.

— Он получит службу, — отвечала Вера.

— Какую же? — спросила Авдотья Егоровна.

— Он сначала, ma tante, выдержит экзамен на кандидата, а тут и должность получит.

— Да ведь надобно, душа моя, чтобы он хорошую получил должность, — заметила Авдотья Егоровна.

— Тут не то, — перебил Алексей Сергеич, — я тут другие виды имею: тут князь важен.

— Конечно, князь много может сделать, — подтвердила Авдотья Егоровна.

— Не много, а все: он в неделю в люди выведет. Я теперь думаю не о том, а как нам действовать.

— Теперь он куда будет здесь готовиться к экзамену, — сказала Вера.

— Я не то говорю: он будет здесь жить... так ли? Что же он: жених ваш или нет? Положим, между собой слово дадим, скажем об этом князю, ну, а прочие-то? можем ли мы прочим объявлять? У меня из головы вон вышло спросить об этом старика. Я теперь решительно не знаю, как он на это обстоятельство смотрит. Так?

— Не знаю, дядя, как хотите, — отвечала Вера.

— Я хочу, как лучше и приличнее. Если скрывать, то может произойти вопрос: как, и что, и зачем?

— Зачем же, mon ange, скрывать? — вмешалась Авдотья Егоровна.

— Затем, что я теперь не знаю, как князь об этом думает? Я бью на то, чтобы и предложение-то шло через князя; мы бы дали слово, а потом я сделаю бал, — да на бале всем и объявить. Вот это было бы прилично и с тоном: тут бы все увидели, какой человек принимает в

этом участие, и этих бы шиканьев и шептаньев не было...
Правильно ли я говорю, так ли?

— Да как же это сделать, дядя?

— Сделать легко-с. Пусть он едет к князю, скажет так и так, все свои намерения, а тот мне письменно передаст их с своим мнением, которое необходимо и которое даст всему другой вид.

— Конечно, участие князя необходимо, — подтвердила Авдотья Егоровна.

Так улаживал дело Алексей Сергеич. Шамилов целое утро был очень занят: он начинал переводить Тацита¹, вероятно, с целью перевести его всего и издать в свет; по крайней мере, я вправе это заключить из того, что на первом листе было написано заглавие, а на втором посвящение, в таком роде:

«Князь!

Приношу вам труд мой. Он далеко, по своему исполнению, не соответствует ни вашему ученому и образованному уму, ни личным надеждам переводчика, желавшего выразить в нем хоть сколько-нибудь то глубокое уважение, которым он исполнен к вам.

Имею честь пребыть
вашего сиятельства
покорнейшим слугою *Петр Шамилов*».

На второй странице своего вновь начатого труда Петр Александрыч остановился.

— Как мертва и трудна эта латинщина, ужас! никакого терпения нет, — произнес он, вставая с досадою, — и вообще переводить утомительная работа. То ли дело самому создавать!

Соскучившись переводить Тацита, Шамилов несколько времени ходил по комнате, потом собрался было к Ухмыреву, но, вспомнив, что он Вере Павловне сказал, что все утро будет заниматься и придет вечером, не поехал туда и снова решил заниматься, избрав на этот раз статистику и дав себе слово во что бы ни стало выучить два отдела — и, может быть, действительно выучил бы, но приехал улан.

— Bonjour, — сказал тот, входя.

¹ Тацит (54—111) — римский историк.

Шамилов дружески протянул ему руку. Весьма было заметно, что он обрадовался приезду гостя, оторвавшего его от скучной статистики.

— Что нового? — спросил он.

— Ничего: все это время я умирал в своем номере со скуки; вы тоже все дома: вас нигде не видать. Отчего вы не бываете у Ухмыревых?

— Все это время я был очень занят; но теперь буду там чаще; поотделался немного.

— Что же это вы такое делали?

— Много читал, писал.

Разговор продолжался несколько времени в том же тоне. Карелину сделалось скучно.

— Знаете ли что? поедemте к Степочке: он сегодня именинник — и скрывает.

— Вы почему знаете?

— Мне торговка сказывала — препочтеннейшая женщина, шляется ко мне каждое утро и доставляет разные развлечения. Она ходила его поздравлять, и он ей дал три гроша на водку. Поедемте.

— Что же мы станем у него делать?

— Время превосходно проведем, за это я берусь; захватим с собою и доктора и заставим хозяина купить вина; он ужасно скуп: будет сначала терзаться, а тут и его самого напоим и заставим буянить, — он отлично буянит: как-то раз, я столкнул его с моим нумерщиком: такую драку подняли, хоть водой разливай. Partons! ¹

— Нет, не хочется; что с ним дурачиться. Посидите у меня... лучше поговорим о чем-нибудь.

— Да что — поговорим! говорить не о чем... Собирайтесь!

Шамилов еще отговаривался некоторое время; но Карелин настоял на своем: он заставил его одеться и, для спешности, сам подавал ему умываться.

Степочка действительно был именинник; но этот знаменательный для каждого день он проводил неприятно — по многим причинам: дело касательно сватовства к Вере Павловне решительно не подвигалось; он даже не имел случая, в продолжение целой недели, употребить магического крючка, потому что, бывая у Алексея Сергеича постоянно каждый день, он почти не видал Веру. Не-

¹ Отправляемся (франц.).

смотря на свое простодушие, он начал догадываться, что Ухмырев и Авдотья Егоровна к нему решительно переменились: они очень мало говорили с ним, часто уходили в дальние комнаты и оставляли его одного. Возвращаясь домой, молодой человек до того впадал в грусть и тоску, что даже плакал. На день именин своих Степан Гарасимыч надеялся получить от маменьки по крайней мере рублей сто, на которые и хотел приобрести новую шубу, и уже ходил каждый день в лавки и все рассматривал разные меха и приценился к ним. В последнем письме он намекнул об этом Аграфене Кондратьевне; но мечты его и тут не сбылись: скупая старуха прислала ему только десять рублей, объясняя, что она не пожалела бы прислать дорогому имениннику и больше, но теперь сама совершенно без денег, потому что подрядила строить новый скотный двор и купила двух черкасских быков.

Проснувшись поутру с грустным расположением, Степан Гарасимыч очень опасался, чтобы в городе не проведаль кто-нибудь, что он именинник. Опасения его на этот счет еще более увеличились, когда ни с того ни с сего пришла его поздравить Секлетей Дмитревна, которая, вероятно, узнала это от Аксины. Дав колдунье три гроша, Сальников позвал свою кухарку и начал ее бранить за болтливость, но Аксиныя запиралась и уверяла, что Секлетей знает об именинах Степана Гарасимыча еще по деревне. Чтобы спастись от новых посещений, молодой человек решил идти к Ухмыреву на целый день, но только что, одевшись, хотел выйти, как явились улан, Шамилов и весельчак доктор, за которым первые нарочно заезжали к одной его пациентке, где он, к большому горю жены, проводил каждое утро. Степан Гарасимыч сконфузился. У Карелина в руках был огромный кулек.

— Честь имеем, Степан Гарасимыч, поздравить вас со днем вашего тезоименитства, и позвольте нам, батюшка, этим вам поклониться — не побрезгуйте! — проговорил повеса и начал вытаскивать из кулька: замороженную индюшку, кусок икры, два французских хлеба, фунта два мятных пряников, пузырек с духами амбре. — Это мы с Петром Александрычем; а это вот от доктора, — прибавил он и вытащил полфунта магнезии.

Степан Гарасимыч рассмеялся.

— Вы все шутите, господа! я сегодня не именинник.

— Ох, молодые люди, молодые люди, — произнес весельчак доктор своим иезуитским тоном, — как вы все нынче скрытны. Я помню, как вы родились... что вы таите?

— Нет-с, вы это неправду говорите: вы, вероятно, считаете меня за меньшего брата моего, который умер, — ему бы теперь был еще тринадцатый год, — а я уж давно родился.

— То есть вы действительно давно родились; но, впрочем, я в Москве видел во сне, как вы произошли на свет, — сострил весельчак доктор.

— Что вы, Степан Гарасимыч, между приятелями скрываетесь... — начал улан.

— Господа, сделайте милость, извините, я, может быть, в самом деле именинник, но теперь у меня маменька больна: я совсем не приготовился.

— Нам не нужны ваши приготовления, Степан Гарасимыч: мы желаем вас только поздравить, — вмешался Шамилов.

— Вы поставьте нам хорошей водки, мы выпьем по рюмке, да потом полдюжинки шампанского, закуску мы сами привезли, то есть икры и белого хлеба, — проговорил решительно Карелин.

— Шампанское необходимее всего... вы тоже согласны с этим, господин Шамилов? — проговорил доктор.

— Разумеется, — отвечал тот.

— Без всякого сомнения, — подхватил Карелин и, посмотрев строго на Степochку, спросил его. — Степан Гарасимыч! именинник вы сегодня или нет? скажите нам решительно.

— Да как же, господа, я, право, такой невежа, что не могу даже вас принять прилично: я совершенно к этому не готов.

— Это ничего: мы вам поможем. Где у вас деньги? — произнес улан.

Хозяин, конечно, растерялся.

— Деньги, должно быть, здесь, — отозвался доктор и подал улану заветный бумажник Степана Гарасимыча.

Что почувствовал мой богатый жених, я даже понять и усвоить своим авторским чувством не в состоянии. Он было бросился к бумажнику и хотел вырвать его из рук злодеев, но Карелин распорядился очень проворно: сразу отстегнул довольно затейливо придуманный замочек и

вынул бумажку в двадцать пять целковых, и, даже не посмотрев, что там есть еще, вышел из комнаты, и послал своего кучера купить водки и шампанского. Не ограничиваясь вином, он послал Аркадия в трактир и велел оттуда принести несколько порций кушанья, спрашивая, впрочем, Степана Гарасимыча, какое именно он любит: горячее, холодное, жаркое и прочее, — тот только хлопал глазами и не в состоянии был даже ничего говорить.

Когда водка и две бутылки шампанского были привезены, Сальников обратился с умоляющим взглядом к пришедшему кучеру:

— А что, братец, где же сдача? не все же ты издержал?

Кучер полез было в карман, но Карелин его остановил.

— Погоди рассчитываться: может быть, еще за чем-нибудь пошлем; пошел на свое место, — проговорил он.

Кучер повиновался.

Бедный Степочка, растерявшийся совершенно от ни с чем несравнимой дерзости Карелина, выпил с горя залпом три рюмки водки и съел почти всю икру и калач.

Незванные гости водки не пили, а налили себе шампанского по стакану и снова поздравили именинника со днем тезоименитства, который их даже не поблагодарил, потому что вино по обыкновению изменило характер молодого человека в том отношении, что он тотчас же утратил свое мягкосердечие.

— Господа, позвольте мне сочинить имениннику стихи, — заговорил Шамилов.

— Непременно, непременно! — отозвался доктор, — я еще давеча думал, что у вас, должно быть, приготовлена речь.

Степан Гарасимыч вспылал.

— Я не позволю вам писать на меня стихов, — сказал он, обращаясь дерзко к Шамилову.

— Я хочу писать не на вас, а к вам, — возразил тот.

— Это все равно-с... я не маленький, чтобы вам смеяться надо мной!

— Да кто ж, почтеннейший, над вами смеется? Да смеем ли мы это и подумать! — заметил доктор.

— Петр Александрыч! что вы остановились? — сказал улан. — Пишите стихи.

Шамилов написал:

Сколь радостен для нас сей день,
Твои приятны именины!

— Дальше я напишу, — проговорил Карелин и, взяв у Шамилова бумагу, написал и прочитал все вслух:

Ты парень добрый, хоть и пень...
Не хочешь ли покушать, брат, мякины?

Степан Гарасимыч побледнел, закусил губы и, вырвав у Карелина бумагу, первоначально изорвал ее, а потом, свернув в комок, бросил. Умышленно или случайно, но только этот комок задел Карелина по голове. Он тотчас же встал и грозно выпрямился пред Степочкой, который в свою очередь тоже встал и, казалось, был готов к сильному отпору.

— Как вы смели бросить в меня бумагой? — сказал Карелин.

— А как вы сами смели смеяться надо мной? — возразил Степочка довольно храбро.

— Я вас спрашиваю, как вы смели бросить в меня бумагой? — повторил Карелин.

— Я сам вас спрашиваю, как вы смели надо мной смеяться? — возразил Степочка.

— Знаете ли вы, милостивый государь, что такое дуэль?

— Конечно, знаю-с! что ж вы думаете: я не крестьянский мальчишка, а такой же, как и вы, дворянин.

— Я вас вызываю на дуэль и наперед вам говорю, что застрелю вас.

— Сделайте милость: не поддадимся! Благородные люди по чужим кошелькам не лезят!

— Ни слова больше! Слов не нужно: мы будем драться насмерть; деньги ваши возьмите! — возразил Карелин и выкинул на стол двадцатипятирублевую ассигнацию. — Господин доктор! потрудитесь съездить на мою квартиру и привезите мои пистолеты; но главное — позвольте мне шепнуть вам два-три слова, — прибавил он и сказал что-то доктору на ухо.

Тот отправился. Шамилов вышел за ним на крыльцо.

— Неужели между ними в самом деле будет дуэль? — спросил он его.

— Непременно-с! и мы будем секундантами. Не знаю, как вы, а я этих шуток терпеть не могу, но делать нечего, — ответил доктор и уехал.

Петр Александрыч возвратился в комнату, и довольно встревоженный. Противники сидели молча. Степан Гарасимыч беспрестанно пил водку. Карелин был задумчив и кусал усы.

— Послушайте, Карелин: шутите вы или нет? с вашей стороны смешно стреляться, — отнесся Шамилов по-французски к Карелину.

Тот ему мигнул.

— Я не хочу на пистолетах: давайте на саблях! — проговорил вдруг Стёпочка.

— Этого нельзя: мы уже выбрали пистолеты, — отвечал противник.

— А я не хочу на пистолетах.

— В таком случае я вас просто без дуэли застрелю.

— Нет, уж извините: высоко берете!

— Посмотрим.

Доктор возвратился с парюю пистолетов. Как ни был рассержен, как ни был пьян Степан Гарасимыч, но при виде роковых орудий побледнел, как полотно, и лицо его вытянулось. Шамилов был тоже в некотором беспокойстве, хотя и подозревал, что все это шутка. Карелин хладнокровно осмотрел пистолеты.

— Они заряжены? — спросил он доктора.

— Заряжены, как следует.

— Мой секундант господин Шамилов, — начал Карелин, — а вы, доктор, будете со стороны господина Сальникова; ваша помощь ему будет очень нужна: я намерен его прострелить насквозь. Назначайте место.

— Сейчас, — ответил доктор и промерил шагами залу и спальню: в них оказалось двадцать пять шагов.

— Вы станете здесь, — сказал он улану, указывая на стену в зале, — а вы, Степан Гарасимыч, в спальне — тоже у стены.

Но Степан Гарасимыч ничего ясно не понимал; впрочем, он привстал — и покачнулся. Доктор его взял под руки и поставил на назначенное место.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, оставьте: не сробеем! — болтал он, опираясь на стену.

Доктор поклонился и роздал бойцам по пистолету.

— Вам первому стрелять, — сказал он Сальникову и стал около него.

Степан Гарасимыч выстрелил: появилось целое облако дыму, но и только: Карелин остался невредим и начал целиться. Шамилов схватил его за руку.

— Вы убьете его, — сказал он.

— Не мешайте, — ответил Карелин и выстрелил.

Вместе с дымом вылетела какая-то масса и ударилась в лицо Степочки; он вскрикнул: «Ух!» — присел и схватил себя за лицо — руки окрасились красным цветом.

— Ну, брат, спасибо: все лицо истрелял, — проговорил он и покачулся.

Доктор бросился к нему.

— Вы ранены в лицо... ничего: поможем, — говорил он встревоженным голосом и, схватив полотенце, обернул им всю голову раненого, который сидел на полу, качался и стонал.

— Подайте ему вашу помощь, доктор, и приезжайте ко мне, — проговорил Карелин и, взяв Шамилова за руку, вышел.

— Чем это вы в него выстрелили? — спросил тот.

— Клюквой. Поедьте ко мне.

Молодые люди отправились.

Доктор между тем положил раненого на постель, посоветовал ему целый день не шевелиться и уехал. Совет этот был, впрочем, почти лишний. Степан Гарасимыч немного постонал, но потом закрыл глаза и почти тотчас же захрапел.

Между тем Карелин и Шамилов приехали в номер к первому и очень смеялись над сыгранной ими так удачно шуткой. Поджидали было доктора, но тот, однако, не приехал. Покончив хлопоты с своим пациентом, он захватил к той больной, от которой был увезен, и тут остался. Расшалившийся Карелин велел принести бутылку шампанского, которую молодые люди и выпили довольно скоро. Вино, как известно, располагает к дружбе и к откровенным разговорам. Шамилов начал первый.

— Бывали ли вы, Карелин, когда-нибудь влюблены? — спросил он.

— Раз семнадцать, — отвечал тот.

— Нет, я не то вас хотел спросить; а вы мне скажите, любили ли вы когда-нибудь глубоко, истинно?

— Как глубоко и истинно... я вас не понимаю?

— Как же не понимаете?

— Да так: глубоко и истинно... все это пустяки и глупости. Я сам врезался однажды в крестьянку — чудо как была хороша! — я еще был мальчишка, жениться даже хотел, да спасибо генералу: он узнал, на три месяца на гауптвахте и выдержал.

— Ну, а здесь разве вы не влюблены в Катерину Петровну?

— Нет, так... дурачусь. Мне ваша Вера Павловна больше нравится; если бы вы мне не перебивали дороги, я бы... умная девушка; я сам хоть не очень умный человек, а умных люблю.

— Не говорите, Карелин, об этой женщине так легко.

— А что же?

— А то, что она имеет для меня огромное значение.

— Я это знаю: вы в нее дозарезу влюблены.

— Нет-с, не то, что влюблен, а я пред ней благоговею, как пред моею спасительницею. Она меня спасла от нравственного отчаяния, я был близок почти к самоубийству. Она одна оживила меня и вдохнула в меня новые силы. Теперь я знаю, что мне делать, и могу кое-что делать.

— Стало быть, вы женитесь на ней?

— Конечно.

— Ну, батенька, смотрите! О состоянии похлопочите, а то этот дяденька Ухмырев наверняк надует: он, говорят, мыльный пузырь: не сегодня, так завтра лопнет.

— Бог с вами, с вашим состоянием, Карелин! я на эти вещи смотрю иначе: брак не торговая сделка. Вы человек умный и практический, но односторонний, или, как говорится, с узким кругозором на этот предмет. В наше время состояние у человека в голове и в той обстановке, посреди которой он действует.

— Как бы не так! — возразил Карелин. — Чистоган вернее всякой вашей головы и всякой обстановки.

— Заблуждаетесь, monsieur Карелин, страшно заблуждаетесь, — возразил в свою очередь Шамилов. — Это все будет-с, и все это пустяки; мне нужно не то: мне нужна служебная дорога. Жить в деревне байбаком я не могу. Мне нужна умственная деятельность, тем более что для такой женщины, как Вера, стоит потрудиться; ее грешно оставить деревенской барыней. Хотите ли вы видеть одно из ее писем ко мне?

— Покажите.

Шамилов подал улану первое письмо Веры.

— Славный почерк! точно у мужчины, — проговорил тот. — Вы в нее очень влюблены?

— Да что влюблен... что это, как вы говорите, Карелин! Вы просто профанируете ее, меня и наши чувства. Со мной в отношении этой женщины совершилось чудо. Я осязательно испытал справедливость шекспировской мысли, что «есть многое на земле, чего не разрешает разум человека». Выслушайте меня, если вам это будет не скучно. Я ехал сюда из Москвы буквально безо всего: без цели, без мысли о будущем, отказавшись от всех моих прежних интересов, и, конечно, все это понимал, но в то же время был спокоен. Мне чувствовалось, что как будто бы помимо моей воли совершается роковой переворот в моей судьбе. Надобно сказать, что уже лет пять живет во мне предчувствие, которое говорит, что благополучие моей жизни создаст женщина; как и где? — прежде я этого не знал; но теперь задача эта решена...

— Пейте шампанское! — перебил улан.

Шамилов выпил и продолжал говорить. Улан, наконец, начал зевать.

— Не хотите ли у меня соснуть? — спросил он своего гостя.

Шамилов отказался, а просил только лошади довести его до Ухмырева.

— Желаю вам успеха, — проговорил хозяин, прощаясь. — Впрочем, я бы не советовал вам туда ехать.

— Отчего же?

— Так. Вы уж немного пьяны.

— Ничего. Это даже хорошо. У греков не было вина без любви и любви без вина.

— То у греков, может быть, а у нас не совсем ловко. Впрочем, как хотите.

Шамилов уехал.

Алексея Сергеича и Авдотьи Егоровны не было дома. Они были у одного купца на крестинах, с которым Ухмырев не был вовсе прежде знаком, ничего даже не покупал у него в лавке, хотя его лавка с красными товарами и была первая в городе; но в последнее время вдруг начал перевозносить его похвалами и магазин его ставить вровень с английским магазином в Петербурге. В городе

это объясняли тем, что будто бы Алексей Сергеич занял у этого купца пять тысяч рублей под вексель.

Вера была одна дома и сидела в гостиной, слабо освещенной матовым светом лампы. Ей было скучно и грустно: она в этот день раза четыре посылала к Шамилову и звала его прийти к ним, желая, во-первых, видеть его, а во-вторых, передать ему последний разговор с дядею. Посланный каждый раз возвращался безуспешно и докладывал, что Петр Александрыч еще поутру куда-то уехал с уланом. Вере сделалось досадно: куда и зачем он мог уехать с Карелиным? и что за дружба у него может быть с этим человеком? Она дала себе слово побранить его хорошенько и запретить ему даже быть знакомым с этим повесой.

Вы, милые девицы читательницы, вероятно, согласились, что Вера Павловна вправе была досадовать: вы сами, может быть, страдали от странных поступков мужчин. Вам на первых порах и в голову, конечно, не приходило, что молодые люди ветреники и эгоисты и что чувство любви у них как-то на втором плане. И я знаю, что к досаде вас руководствует не самолюбивая ревность, не дурной характер женщин зрелых и опытных, но вы только еще не знаете и не привыкли к слабостям мужчин. Я заранее убежден, что из вас выйдут предобрые жены, исполненные самоотвержения, и что вы будете снисходить и извинять многое, — но вначале это невозможно: вначале вы очень строги и требовательны. По крайней мере все это я могу безусловно отнести к моей героине.

Послышались шаги. Вера Павловна взглянула — перед ней стоял Шамилов. Досады как будто не бывало: она весело улыбнулась ему и протянула руку; но Петр Александрыч схватил ее руки и начал целовать их, а потом поцеловал и ее раз... два... три... до десятка. Молодая девушка первоначально не противилась, а потом вдруг вся вспыхнула, оттолкнула тихонько Шамилова и пересела на другой конец дивана.

— Какой ты странный сегодня! — проговорила она. — Где ты был?

— Я был у дурака, делал глупости и сам был целый день пошлым глупцом, каких когда-либо создавал свет, — отвечал Шамилов, схватив себя за голову.

Вера покачала головой.

— Где же это ты был? — спросила она с удивлением, всматриваясь в раскрасневшееся лицо молодого человека и в странное выражение его глаз.

— Во-первых, я проснулся сегодня с неопределенным желанием видеть тебя, Вера, но не так, как позволено мне видеть, но уже моей подругой; испытание, которое кладут на нас, выше сил моих; но ты этого сама хочешь, ты боишься довериться Шамилову как человеку.

— Кто ж тебе это сказал? — спросила Вера.

— Ты — мое дивное существо, ты хочешь, чтобы я тебе житейским образом доказал, что я достоин твоей любви, — и я тебе докажу, хоть бы задержанная страсть уничтожила меня!

— Я этого хочу не для себя, а для тебя.

— Для меня?.. Боже мой! Для меня нужна только ты — и ничего больше в мире... Или нет, Вера, не верь мне: я говорю глупости, я лгу; я желаю полмира, я хочу быть восточным набобом, чтобы окружить тебя всеми удобствами, всем комфортом.

Вера подала молодому человеку снова руку, — он ее поцеловал и продолжал:

— Милое существо мое! неужели мы для нашей любви должны выдержать годичное испытание? Я не перенесу этого: я умру.

— Чего же ты хочешь?

— Жениться на тебе как можно скорее.

— Это невозможно.

— Возможно, Вера, очень возможно. Что нас останавливает? Деньги? Невинное создание! неужели это может нас остановить? Этих денег много у твоего дяди и еще более у князя. Неужели этот старик пожалеет дать нам кусок хлеба и женить нас? У него два десятка помещьев — пусть он отделит нам хоть одно, — и мы будем благословлять его. Я это говорю, Вера, не свои мысли; это говорят все в городе, — мне пересказал это Карелин, а он умный человек.

Весь этот монолог Вере Павловне был, видимо, не по сердцу.

— Подите, Шамилов, я вас не узнаю: вы говорите ужасные вещи, — проговорила она и пересела еще дальше. — Я люблю вас и хочу быть обязанною одним только вам...

— Что ж я должен теперь делать?

— Трудиться и работать.

Не знаю, до чего бы достигнул этот решительный разговор между молодыми людьми, если б он не был прерван приездом старших хозяев.

Посидев немного, Алексей Сергеич увел Шамилова в кабинет и начал, по своей тонкости, издали: первоначально он объяснил, какой князь важный человек и что он, Ухмырев, очень рад, что он Петра Александрыча полюбил, а потом тоже слегка коснулся Веры Павловны, и, наконец, кое-как, почти в намеках, посоветовал молодому человеку ехать к высокопочтенному старику и просить принять участие в общеинтересном деле. Шамилов, конечно, все выслушал и безусловно во всем согласился с Алексеем Сергеичем. Когда он вошел в гостиную, Вера сидела на прежнем месте; Авдотья Егоровна зачем-то вышла в свою спальню; Петр Александрыч сел около Веры.

— Вы сердитесь на меня? — проговорил он.

— Вы странный человек! — отвечала Вера.

— Я виноват! я говорил и сам не знаю что, — отвечал Шамилов.

— Что вам говорил дядя?

— Он мне советовал, чтобы я ехал к князю и просил его сделать от меня предложение вам.

— Поезжайте и больше ни о чем не думайте.

— Я вас послушаюсь и поеду, но, может быть, умру.

— Я скорее вас умру, — ответила Вера и ушла.

Шамилов остался некоторое время задумчив; но, впрочем, за ужином он разговорился и в этот раз был так умен и любезен, что понравился и хозяину и хозяйке. Они, пришедши в свою спальню, переговорили о нем.

— Он умный малый, — заметил Алексей Сергеич.

— Очень умный, — ответила Авдотья Егоровна, — я давно это видела, и даже характером схож с Верой.

— Это все ничего: тут главное князь, — возразил супруг.

VIII

На другой день Алексей Сергеич, озабоченный исполнением своего плана, чтобы сватовство произошло через князя, приехал сам нарочно к Шамилову утром.

— Скоро едете? — спросил он, как только вошел.

Шамилов посмотрел на него с удивлением: он едва, наконец, припомнил, куда и зачем ему надобно было ехать.

— Мне что-то нездоровится, — проговорил было он, но, заметив, что Ухмырев насупился, прибавил: — Я, впрочем, думаю съездить.

— Надобно-с, — решил Алексей Сергеич. — Я вам свой фаэтон привез: поезжайте в фаэтоне.

— Хорошо, — ствечал молодой человек и ушел одеваться.

Оставшись один, Ухмырев осмотрел кабинет, или, лучше сказать, гостиную своего будущего родственника и, вероятно, остался недоволен наружным видом, потому что покачал грустно головой, — тронул с пренебрежением пальцем запыленного и засыпанного табачными окурками Шекспира, валявшегося уже на окошке, и вздохнул. Но вышел Шамилов, одетый франтом. Это понравилось Алексею Сергеичу. Прощаясь с ним, он крепко сжал ему руку.

— Говорите порешительнее.

Петр Александрыч только кивнул головой и уселся в тот щегольский фаэтон, в котором ехал некогда и Степочка, и даже подумал почти то же, что подумал мой богатый, но простодушный юноша, — с такою, впрочем, вариацией:

«Славный экипаж, — думал Шамилов. — Я, кажется, пспал в хорошую семью; комфортом они меня обставят. Досаднее всех Вера: она умна, но холодна... О провинция, невинная провинция!» — воскликнул он в заключение и предался созерцанию прекрасных видов провинции, которые действительно были очень хороши.

Князь был болен и сидел, окутанный в горностаевый тулуп.

— Здравствуйте, молодой человек! — проговорил он. — Прошу присесть; а я все хвораю: кровь не греет — все зябну... Что подельваете?

— Учусь, ваше сиятельство, — отвечал Шамилов.

— А давно ли вы были у Ухмыревых?.. Давно ли вы видели мою милую Верочку? Что это вы сконфузились, а?

— Вы, князь, вероятно, знаете... — начал было Шамилов.

— Все знаю-с и говорил о вас и за вас с ее дядей: он теперь на вашей стороне.

— Я, ваше сиятельство, собственно по этому предмету приехал с просьбой к вам...

— Что такое?

— Вера Павловна передала мне, что вы были так добры — приняли участие...

— Говорите со мной, Петр Александрович... вас так, кажется, зовут?

— Так.

— Да... говорите со мной откровенно, — например, таким образом: я-де, князь, до безумия влюблен в Веру Павловну, она же вам, как я слышал, сказала... — то ли вы хотели мне сказать?

— Именно то-с.

— Ну, я на это скажу, что влюбиться простительно, но жениться еще рано: рукобיתье, как говорит простой народ, сделаешь, а в мужья вы еще не годитесь: получите звание и начните службу наперед.

— Но, чтобы получить слово, надобно сделать мне предложение; ее родным хочется, чтобы это шло чрез посредство вас.

— Хорошо, я готов; но каким же образом мне это сделать?

— Они говорят, чтоб письмом...

— Пожалуй, хоть сейчас же. Но, впрочем, прежде погодите...

Князь позвонил. Вошел лакей.

— Подай мою шкатулку.

Человек поставил перед князем огромную шкатулку и ушел.

— Вам, может быть, придется подарить невесту, и здесь вы, конечно, ничего не найдете... Возьмите, вот у меня есть удобная для этого вещь, — говорил князь, вынимая из шкатулки баульчик и подавая его Шамилову.

Тот принял его нерешительно.

— Откройте, посмотрите! — сказал князь.

Шамилов открыл: это были очень дорогие брильянтовые серьги.

— Подарите ей от себя, а я с своей стороны пошлю...

— Князь! ваше великодушие... — начал Шамилов.

— Без фраз, мой милый, — перебил его старик. — Что же нам писать-то? Сядьте тут к столу: я вам продиктую. Пишите!

Шамилов сел. Князь начал диктовать.

«Милостивый государь,
Алексей Сергеич!

Вашим родственным попечением принята под кров племянница вашей жены и дочь моего друга, которой вы в настоящее время, вместе с вашей супругою, заменили родителей. Молодой человек, г. Шамилов, уже избранный ее сердцем, возложил на меня поручение просить вашего и милой нашей невесты согласия на брак с ним, или, по крайней мере, того, чтобы ему дано было слово, получив которое, он первоначально изберет род службы. Свадьба должна быть отложена на столько времени, сколько ему потребно будет для приведения в порядок своего положения. Передавая сие, надеюсь, что все это будет благосклонно принято вами и Верою Павловною, которую я, впрочем, хочу закупить, с каковою целию и посылаю при сем небольшой для нее подарочек, оставаясь в приятной надежде, что она не стеснится принять его от старика свата и приятеля ее отца. Прошу почтить меня ответом для передачи его молодому человеку.

Пребываю с истинным моим
уважением»

— Не складно, да, может быть, выйдет ладно, — проговорил старик. — Дайте-ка я прочитаю.

Шамилов подал.

— Как вы дурно пишете, — проговорил князь, пробегающая письмо, — да и с ошибочками.

— Торопился, ваше сиятельство! — отвечал, смешавшись, Шамилов.

— Ну, ничего! Господи благослови! — произнес старик и подписал: «Князь Сецкий».

— Теперь потрудитесь выйти в те комнаты и там запечатать: я очень не люблю запаху сургуча.

Шамилов раскланялся и вышел. Письмо было отправлено к Ухмыреву с особым человеком.

Получив его, Алексей Сергеич сейчас уселся за свой письменный стол. Он очень долго думал, тер себе лоб, кусал конец пера, но ничего не написал, кроме: «Ваше Сиятельство, Милостивый Государь, Борис Николаевич!»

Одним словом, он, кажется, не находил в голове своей ни приличных мыслей ни приличных выражений. Потеряв терпение, он пошел к Вере Павловне.

— Князь делает письменно от Шамилова предложение, — сказал он, — и прислал какой-то подарок вам; на все это надобно написать ответ. Я хотел было сам; но вам приличнее: для вас ближе это дело.

Вера Павловна сначала прочитала письмо, а потом уже открыла ящичек. Алексей Сергеич попятился назад от удивления, Вера тоже удивилась: в бауле лежало брильянтовое ожерелье тысяч в пять серебром.

— Княжеский подарок, — проговорил Алексей Сергеич, рассматривая вещь, — хорош... очень хорош... надобно показать жене; вы покуда приготовьте письмо, — прибавил он и пошел к Авдотье Егоровне.

Добрая дама тоже ахнула, увидев такую прелестную и дорогую вещь; она едва в состоянии была понять, что это подарок князя, который он прислал Вере Павловне.

— *Comme c'est charmant, comme c'est magnifique!*¹ — говорила она, любуясь ожерельем.

Алексей Сергеич между тем начал ходить по комнате; на челе его снова появилось облако серьезной мысли.

— *Eudoxie*, — начал он, — нам тоже надобно сделать подарок в роде этого.

— Ты знаешь, душа моя, что теперь это невозможно.

— Перехватим где-нибудь.

Авдотья Егоровна покачала головой и вздохнула.

— Я лучше могу переделать некоторые из моих брильянтов, которые уже мне понаскучили.

— Но что же все это будет: мелочь... дрянь!..

— Вовсе нет: по нынешней работе ажур будет очень видная вещица.

— Так надобно послать в Ярославль: здесь не делают.

— Я пошлю. Бал будет у нас?

— Непременно.

— Пожалуйста, *cher Alexis*, меньше расходуйте: ты знаешь наши обстоятельства...

— Нельзя же, чтоб было неприлично. Так ли?

¹ Как это очаровательно, как это прекрасно! (*франц.*)

Вера Павловна по уходе дяди расплакалась, потом начала молиться. Ей вдруг сделалась страшна мысль быть женой Шамилова. Любит ли он ее еще, не обманывает ли, и, наконец, как и когда она делается его женой, не ошибается ли вместе с ней и добрый князь? Были ли эти мрачные мысли результатом тревожного состояния ее души, или было это темное предчувствие грядущего горя, мы увидим впоследствии. Успокоившись, она написала ответ князю, в котором благодарила его за участие и за подарок. «Я люблю Шамилова, — писала она в заключение, — и желаю быть его женою, — это знает он, знаете и вы, князь». Алексей Сергеич поинтересовался прочесть это письмо и, прочитав его, остался им не совсем доволен: «Надобно бы было написать попочтительнее; неловко, что вы называете его просто: князь! Я думаю, лучше бы вместо этого слова употребить: ваше сиятельство».

— Нет, дядя, ничего: я князя знаю.

— Как хотите; но, по-моему, неловко; да, кроме того, вы ничего ни обо мне ни о тетке не сказали.

— Я, пожалуй, напишу. Что же вы хотите?

— Во-первых, что мы уважаем его мнение, очень рады, что он взял на себя труд, и во всю жизнь останемся ему благодарны.

Вера Павловна приписала: «P. S. Добрый мой дядя и тетка, которые столько доказали мне любви, согласны на предложение г. Шамилова и поручили принести мне вам искреннюю благодарность за все, что вы сделали для меня».

Алексей Сергеич с этой припиской остался недоволен и потому он просил Веру написать к князю другое письмо и о нем только сказать, что он лично приедет и объяснится с его сиятельством. Вера исполнила его желание.

Вечером к Алексею Сергеичу по обыкновению приехали картежные партнеры, и составилось, конечно, несколько партий, но хозяин был чем-то озабочен, и, когда приехал Шамилов, он увел его от Веры в кабинет и говорил с ним, или, лучше сказать, расспросил подробно, что он с князем говорил и что тот ему советовал. Петр Александрыч рассказал ему подробно, хоть, может быть, и не совсем справедливо. Вера Павловна была как-то печальна: она все еще была под влиянием каких-то грустных предчувствий. Написав письмо, она долгое время

всматривалась в портрет отца... и странное дело! портрет как будто изменился: ей казалось, что добрый старик, каким он был нарисован, начал хмуриться и глядеть сердито. Вера Павловна понимала, что это была одна только мечта, но при всем том от дурного впечатления не избавилась.

На другой день Ухмырев был у князя, высказал ему — конечно, в намеках и отрывистых фразах — что желал высказать, и получил ответ, что князь с удовольствием будет у него на бале и с удовольствием выслушает объявление о помолвке Веры Павловны с Шамиловым.

Распространившаяся молва о бале у Ухмыревых привела дам и девиц в невероятные хлопоты. Большая часть из них, без преувеличения, приходила в отчаяние, что в городе ничего нельзя достать порядочного; главный недостаток оказался в атласных башмаках, цветах и перчатках: башмаков совсем не было, первый в городе башмачник не брался шить матерчатых, а предлагал сделать из козла — потоньше, но козел, как известно, для балов нейдет; цветы хотя и были, но явно, что они далеко отстали от последней моды; перчатки были только мужские, и то замшевые.

Бал начался и шел до ужина обыкновенным порядком. Съезд был огромный: человек до семидесяти. Большая часть мужчин приехали, по совету Алексея Сергеича, в белых галстуках и белых или легких летних жилетах; но сам князь, к общему недоумению, был в черном галстуке; а более всего поразило многих то, что почтенный старик приехал вместе с мальчишкой Шамиловым и только что не под руку вошел с ним. В отношении же прекрасного пола я не могу скрыть, что некоторые дамы и девицы, желая явиться наряднее, немного переутрировали свой наряд: так например, одна дама все свое платье обвешала стеклярусом; у другой — девицы, были очень странного устройства и размещения на голове пунцовые банты, которые очень походили на рога; третьи были уж очень бедно одеты: в перекрашенных платьях, в медных браслетах; но эти, впрочем, ничего: они чувствовали свой недостаток и были очень застенчивы. Главные лица моего рассказа на этом бале вели себя как следует. Алексей Сергеич, как хозяин и виновник всего этого, важничал; добрая Авдотья Егоровна блистала брильянтами; милая Вера была очень интересна, но

совсем не в духе. Ирин Шмакова и Софи Моросенко, после Веры, между девицами, были милее всех. Степан Гарасимыч тоже был на бале.

Надобно сказать, что герой мой целую неделю после дуэли с уланом был болен: на него подействовало отчасти нравственное потрясение, но более того выпитое в огромном количестве, при непривычке, вино. Карелин чрез Секлетю Дмитриевну первый узнал, что Степочка болен, и на другой же день приехал и попросил у него извинения. К чести этого шалуна, я должен сказать, что он ездил к больному каждый день и на настоящий бал привез его в своем экипаже, — но, войдя в залу, опять не утерпел и тут же рассказал всем попавшимся ему на глаза девицам и молодым дамам, как он с т-г Сальниковым стрелялся и как залепил ему целый фунт клюквы в лицо. Степану Гарасимычу это было очень неприятно. После вальса, до начала кадрили, была довольно продолжительная пауза, потому что подавали чай. Вера Павловна сидела и говорила в это время с князем. Степану Гарасимычу вдруг пришла счастливая мысль: он уселся сзади нее, зацепил бахрому ее платья своим магическим крючком и просидел в этом положении около четверти часа, смотря постоянно на восток, следовательно для полного успеха недоставало ему только земли из-под следа обожаемой девицы. Начались танцы, и он по обыкновению увлекся этим удовольствием, которое ему преимущественно перед всеми нравилось.

Ужин был великолепный. Первоначально все более или менее стеснялись присутствием князя, но подаваемое обильно вино одушевило общество: завязались разговоры, споры. Налиты были бокалы шампанским, и хозяин провозгласил первоначально тост за здоровье князя, который благодаря Алексея Сергеича и всех прочих немного насупился. Налиты были еще бокалы. Ухмырев встал:

— Позвольте почтенным гостям моим объявить, что на днях наша племянница помолвлена за Петра Александрыча Шамилова, — за здоровье жениха и невесты!

— Ура! — вскрикнул первый улан, подняв бокал на воздух.

— *Chère Véra, monsieur Chamiloff, je vous félicite*¹, — говорила Катерина Петровна через стол и так далее.

¹ Дорогая Вера, господин Шамилов, я вас поздравляю (*франц.*).

Поздравляли все, кроме одного Степана Гарасимыча: он не сказал ни слова, не встал с своего места и не дотронулся даже до бокала. Лицо его приняло пресмешное выражение, вероятно оттого, что он всеми силами старался смигнуть слезы, которыми наполнились оба его глаза. Злодей Карелин первый заметил это.

— Степан Гарасимыч! что такое с вами? Вы плачете?

— Помилуйте, ничего-с, вы всегда на меня выдумываете, — заговорил было Степочка, но остановился: у него начало подергивать щеки, а потом молодой человек не имел сил владеть собою: закрыл лицо руками, зарыдал на всю залу, выскочил из-за стола, вышел сначала в лакейскую, а там в сени, а тут уж я и не знаю куда.

Улан тоже выскочил из-за стола.

— Извините меня, Алексей Сергеич, — отнесся он к хозяину, — я не могу оставить друга в этом положении. Вера Павловна! этот грех на вашей душе. Я приведу его сюда: пусть здесь рыдает, — шепнул он Катерине Петровне.

Все почти гости хохотали. Князь тоже поинтересовался узнать, что такое, и ему объяснили, что Сальников сам сватался к Вере Павловне.

Улан возвратился один.

— Где же Степочка? — спрашивали его некоторые.

— На лестнице стоит, никак не идет, просит послать ему шляпу и шубу.

Весь конец ужина и даже время после ужина было посвящено смеху над Степочкой: впрочем, менее других смеялись князь, Вера и Алексей Сергеич. Последнему, даже была очень неприятна вся эта сцена на бале.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

О помолвке Веры Павловны за Шамилова заговорил первоначально весь город, потом весь уезд, а наконец, и вся губерния. Настоящая причина, вследствие которой Алексей Сергеич выдает свою племянницу за того человека, которого он прежде презирал, была почти открыта. Тут князь действует, решили все единогласно; но почему

и для чего? Этот вопрос был тоже гадательно решен. Карелин или, может быть, сам Шамилов кому-то и где-то проболтались, что вряд ли Вера не побочная дочь князя.

Очень удивляло всех положительных людей то, что свадьба отложена на целый год и даже долее и что жених зачем-то еще поедет в Москву или в Петербург, определится там на какую-то должность, потом опять приедет и так далее. Неужели же он не может определиться на службу женатый так же, как и холостой, и для чего вся эта проволочка, которая в свадьбах никогда к добру не ведет, а гораздо бы лучше было, если уж решились, обвенчать — да и делу конец.

Между тем жених и невеста переживали то каждому известное счастье, которому предаются почти все влюбленные и которое заставляет их забывать прошедшее, смутно думать о будущем, а настоящее... о нем нечего и говорить!.. Любовь, как известно, освещает своим волшебным светом все: самые обыденные разговоры, самые обыкновенные развлечения — все это принимает какой-то особый смысл. Даже наша северная природа, со своими несносно жаркими летними днями, со своею осеннею слякотью, со своими прекрасными, но иногда уж чересчур сильными январскими морозами, со своею быстрою весною, и, наконец, бледные и незамысловатые ландшафты — все это, я убежден, нравится безусловно женихам и невестам, соединяющимся по любви. Шамилов, после помолвки, начал бывать у Алексея Сергеича в продолжение целого дня. Приходя поутру, он некоторое время говорил с будущим дядей. Беседа между ними была всегда направлена на что-нибудь серьезное: они трактовали о торговле, о железных дорогах, о картах. Алексей Сергеич даже удивлялся, как Петр Александрыч имеет об этих предметах так много основательных сведений, и особенно он его заинтересовал, рассказав ему пунктуально одно происшествие, в котором некто, не имеющий ничего, вдруг в один год разбогател до миллионов. Надобно сказать, что это была слабая струна Ухмырева: он искренно верил в безумное счастье, которое будто бы иногда дает людям золотые горы без предварительного с их стороны труда и знания в каком-нибудь предприятии, а так, потому только, что им нужны деньги, и по этому предмету сам знал несколько весьма интересных случаев. Часу в

одиннадцатом выходила Вера, и утро у жениха с невестой проходило незаметно: они разговаривали, но более читали; их очень заинтересовал «Жак» (роман Жоржа Санда, переведенный в «Отечественных записках»). Шамилов восхищался каждой строчкой. За столом Петр Александрыч обыкновенно рассказывал, собственно для развлечения будущей тетушки, различные анекдоты, которые очень всех смешили. Вечером, когда никого не было, устраивался домашний вист; играли: Алексей Сергеич, Авдотья Егоровна, Вера и Шамилов. Ухмырев, как игрок, шалил, за что Авдотья Егоровна немного на него сердилась и играла с обыкновенным своим благородством. Вера кидала карты ксе-как, Шамилов рисковал; конечно, оба они не думали о картах. Петр Александрыч обыкновенно отыскивал хорошенькую ножку Веры Павловны и, наступив на нее, слегка жал, — а этого было и довольно для обоюдного счастья. На этих интимных вечерах с некоторого времени начала постоянно присутствовать Катерина Петровна. Ее, конечно, не чуждались, потому что, по хорошему знакомству, почти считали за свою родственницу; она, с своей стороны, уверяла, что родной сестре своей не желала бы больше счастья, сколько желает его Вере.

В этом семейном кругу о главном моем герое, конечно, забыли и думать и только иногда к слову переговаривали о различных его глупых выходках и простоватых выражениях. Шамилов с Катериною Петровною нападали на него беспощадно. Алексей Сергеич и добродушная Авдотья Егоровна признавались, что он своей глупостью ставил их, как хозяев, в такое иногда положение, что из рук вон; одна только Вера за него несколько заступалась и говорила, что он добрый; но ей возражал каждый раз дядя.

— Я знал его отца, знаю его мать, — скупцы, глупцы, и больше ничего, а он их всех перещеголял, — говорил Ухмырев.

— Зачем же вы прежде не то говорили? — замечала ему Вера.

Алексей Сергеич переменял разговор.

Степан Гарасимыч во все это время не был в городе. Мы видели, как он глупо поступил за ужином, услышав о помолвке Веры; но по приезде его домой с ним сделалось в роде помешательства: он уронил свои любимые

часы на пол и разбил у них стекло, даже укусил, совершенно не понимая для чего, себе руку, и укусил больно, бросился потом на кровать и протосковал всю ночь. Когда на другой день Аксинья доложила ему, что запас уж почти весь подошел, он разбранил ее и назвал воровкой. Та перед барином смолчала, но, придя в избу, рыдалась в такой степени, что возбудила некоторое участие в сухосердном Кузьме.

— Что печку-то не топишь? что нюни-то распустила? о чем? — сказал он.

— Поневоле распустишь, как разобидели на чем свет стоит.

— Так вас, дур баб, и надо: затопить, что ли, печку-то?

— Затопи, голубчик, — отвечала Аксинья каким-то подозрительно нежным голосом.

И Кузьма затопил.

В то же утро попалась на глаза Степану Гарасимычу ворожея Секлетей, пришедшая к Аксинье; он ее чуть не прибил, но та не струсила и сама отвечала ему так:

— Ты, барин, не кричи! я тебе никакого худа не сделала.

— Не кричи и ты! — кричал Степочка.

— Я не кричу; ты сам кричишь! почище тебя господ видала, — проговорила Секлетей.

И поспешила уйти.

Сальников бросился было за нею на улицу, но не нагнал и удовольствовался только тем, что бросил ей вслед попавшийся ему под руку обносок лаптя; придя несколько в себя, он начал было пить чай, но и этого любезного напитка употребил очень немного. Против Алексея Сергеича он чувствовал полное ожесточение и вместе с тем рассердился на маменьку, к которой написал такого рода письмо:

«Бесценная маменька, Аграфена Кондратьевна! цалую заочно ваши ручки; спешу вас уведомить, что Алексей Сергеич вышел низкий человек и все только обманывал меня: он теперь сговорил свою племянницу, о которой я писал вам, за Петра Александрыча Шамилова, а меня все проводил и не сделал для меня ровно ничего, но еще при самом начале приезжал выманивать у меня в заем денег три тысячи пятьсот рублей, но я не дал, потому что у меня нет столько денег. Он было подъезжал, чтобы я

у вас попросил, но я сказал, что и у маменьки нет. Все, милая маменька, теперь сомневаются насчет состояния, которого вы мне отделяете, и все думают, что вы мне никогда ни копейки не дадите, а от этого и не уважают меня...»

Но прежде чем он закончил свое послание, приехал от маменьки нарочный и вручил ему от нее письмо:

«Милый друг мой Степочка! К большому моему огорчению, услышала я, что ты ведешь себя так, как я никогда не ожидала: в именины твои ты напился, с твоими приятелями, пьян, и вы даже стреляли в комнате из ружья; понять не могу, что такое с тобой случилось; я тебе всегда толковала, что на других тебе смотреть нечего: ты еще до сих пор не имеешь настоящего рассудка. А еще тебе скажу, что и при уме потеряться недолго от дурной компании. Представлю в пример сына Семена Петровича: то ли уж отец не давал ему воспитания! а что теперь вышло — живет в деревне, пьет да ездит по соседкам; все смеются, а в хорошем кругу уж нигде и не принят; и с тобой то же самое будет, — но я наперед тебе, Степочка, как мать, говорю, что потакать не стану и при жизни лишу наследства — живи как хочешь! Ты теперича, может быть, еще ничего дурного и не сделал, но в хороших домах, по одной компании, над тобой смеются, и именно в доме Алексея Сергеича, которым ты так дорожил, и принят ли теперь там, я даже не знаю: целые три недели ты мне строчки не написал... видно, тебе мать нужна, когда денег или запаса нет! Ты бы хоть вспомнил, что ты у меня один. Мне сказывали верные люди, что у Алексея Сергеича говорили о тебе то, чего бы я никак не хотела слышать. Еще тебе раз повторяю, что ты должен дорожить поведением пуще глаза; а у меня все это время, как нарочно, — горе на горе: рана уж разошлась до полноги, ни от чего никакой помощи нет — видно, так угодно богу. Наши новые риги, Степочка, сгорели... я чуть не помешалась. Тебе, друг мой, стыднее всех огорчать меня при эдаких обстоятельствах. Бог видит, что я никогда ничего не жалела для тебя; по теперешнему времени я даже не желаю, чтобы ты жил в городе. Приезжай ко мне — я теперь ничем для тебя по городу помогать не могу. Очень меня огорчило, друг мой, когда услышала, что к вину ты подвержен. Неужели ты забыл, что твой папенька от этого помер... смотри:

остерегайся. Запасу тебе с этим человеком не посылаю, потому что я так огорчена, что мне ни до чего, просто в гроб гляжу. Посылаю тебе заочно мое родительское благословение. Остаюсь любящая тебя мать

Аграфена Сальникова».

Степан Гарасимыч понял, что маменька рассердилась не на шутку, а потому послать написанное им письмо не смел, но решился ехать сам в деревню, тем более что город его уже ничем не привлекал. Приехавши, он рассказал маменьке все простодушно. Старуха вначале очень сердилась, целые два дни с ним ни слова не говорила и строго запретила курить ему при себе табак. Спустя несколько дней молодому человеку, искусившемуся сладостями городской жизни, сделалось невыносимо скучно в деревне; по преимуществу его начало в уединении мучить желание жениться. Он заговорил об этом с Аграфеной Кондратьевной, и она попрежнему была не прочь. Долго они придумывали, какую бы именно девицу выбрать побогаче. Софи Моросенко оказалась удобнее всех: во-первых, она нравилась Степочке; во-вторых, Аграфена Кондратьевна знала и любила это семейство и имела сведения, что Сонечка была любимая дочь и что у родителей есть кое-что, и они, по всем соображениям, наградят ее, особенно имея в виду жениха с таким состоянием, как Степочка. Таким образом мой герой снова возвратился в К... в занимаемую им прежде квартиру. Приехав поутру, он в тот же день решился сделать первый визит Моросенкам, о которых я и скажу здесь несколько слов. Сам г. Моросенко был человек довольно странный — богу одному известно, что таилось у него на душе; и какого он даже был ума, в городе этого никто не знал. Сама супруга его, Анна Михайловна, не скрывала этого и, говоря о муже, часто выражалась таким образом: «Вы знаете моего Ивана Иваныча и его глупую скрытность: его понять совершенно невозможно, что он за человек». Наружность его была тоже какая-то таинственная; он почти никогда не говорил от себя никакой мысли, но всегда очень внимательно выслушивал от каждого все, что ему говорили, хоть бы это был невыносимый вздор, и вообще до такой степени был молчалив, что остряк доктор однажды сказал про него: «Был у меня Моросенко:

пришел, помолчал и ушел». Супруге своей он во всем повиновался безусловно и был весьма благонастроен: в карты не играл, не курил и ничего не пил. Принимая в расчет его постоянное спокойствие и цветущее здоровьем лицо, можно было заключить, что он был вполне доволен окружающею его средою, то есть семейством, обществом и службой. Анна Михайловна имела совершенно другой характер: она была недовольна всеми и всем, часто ссорилась с знакомыми и постоянно говорила о том, как бы пристроить детей, с которыми, говорят, очень строго обращалась. Впрочем, ее беспокоили и предметы, совершенно для нее посторонние. Случалась ли летом засуха или большие дожди, она пророчила, что не будет ни хлеба, ни корму. Покупал ли кто-нибудь имение, она непременно ожидала, что купивший разорится от этой покупки. Если умирал кто-нибудь, то, по ее мнению, оставшиеся сироты должны были безвозвратно погибнуть. В последнее время она рассердилась на Ухмыревых, которые действительно очень нехорошо поступили с ней. Не говоря уже о том, что гордец Алексей Сергеич, а также и супруга его не бывали у них в доме месяца четыре, но на днях были именины Анны Михайловны, она еще недели за три говорила об этом в обществе и вместе с тем объявляла, что в этот день намерена для Сонечки дать вечерок. Несмотря на это, эти важные господа не только что не приехали сами поздравить ее, но даже не прислали лакея, как будто забыли совсем. Оскорбленная до души, г-жа Моросенко поклялась во всю жизнь свою не бывать с дочерью у Авдотьи Егоровны и строго запретила ездить к ним мужу. Не ограничиваясь этим, она вздумала давать у себя вечера и всеми силами отбивать у Ухмырева гостей. Степан Гарасимыч приехал именно в тот день, когда назначен был первый вечерок. Хозяйка встретила молодого человека очень приветливо, надеясь в нем видеть гостя на своих вечерах, а может быть, даже и жениха для Сонечки. Последнюю мою мысль подтверждает нижеследующая сцена.

— Вы не заняты сегодня вечером? — спросила она.

— Никак нет-с. Мне негде быть теперь-с, — отвечал Степочка.

— Я думала, что не будете ли вы у Алексея Сергеича; впрочем, я думаю, им теперь не до гостей, потому что они все любят женихом и невестой.

Степана Гарасимыча подернуло.

— Какую прекрасную партию составляет Вера Павловна! — продолжала хозяйка.

Сальников ничего не отвечал.

— Если вы не заняты, то могу я вас просить приехать к нам на вечерок?

— Очень приятно. Я к Алексею Сергеичу уж не буду больше ездить, — отвечал гость.

— Право? Отчего же? — спросила Анна Михайловна самым простодушным тоном.

— Так-с! они все меня обманывали.

— Будто! в чем же это?

— Это моя тайна.

— Не смею спрашивать.

Приглашение на вечер очень развлекло Степана Гарасимыча. Вскоре вышла Софи в простеньком домашнем платьице, которое к ней очень шло, и присела к молодому человеку с приятной улыбкой.

— Софи, — сказала мать, — что ж ты не повторишь того романса, который ты разучила вчера?

Софи потупилась.

— После, татап.

— А я тебя прошу сейчас же, потому что после некогда, — сказала Анна Михайловна и взглянула на дочь каким-то особым взглядом, значение которого та, вероятно, очень хорошо понимала, потому что тотчас же пошла к фортепьяно.

— Вы поете? — спросил Степочка, подходя к девушке.

— Нет... так, — отвечала Софи.

— Пропой, — повторила мать.

Так как голос молодой девицы оказался фальшивый сопрано, а фортепьяно было совершенно расстроено, то о музыке пропетого романса нельзя было сказать слишком многого, но зато слова его были весьма знаменательны:

Ты видал ли ее,
Ты знавал ли ее,
Как в мечтаньях она
И робка и скромна?
Ты знавал ли ее?
Ты видал ли ее? —

выкрикивала m-Ne Моросенко. Заключительный куплет романса был таков:

Если видел все вдруг,
Если понял все вдруг
И знавал ты ее,
Знай — и я знал ее...

— Какие возвышенные чувства! и какая прелестная музыка! — произнесла Анна Михайловна.

Степану Гарасимычу тоже очень понравилось пение Сонечки. Он облокотился на фортепьяно, и лицо его приняло самое сладкое выражение.

— Вы, вероятно, учились петь у учителя, — сказал он по окончании романа.

— Нет, немного в пансионе, у madame. Вы сами поете? — сказала Софи.

— Что ж я пою? Я пою просто самоучкой. Спойте еще сами что-нибудь и доставьте мне это счастье, — проговорил Степочка, начиная входить в экстаз любезности.

— Merci, я что-то сегодня не расположена петь, — отвечала девушка.

Но я уверен, что маменька заставила бы ее еще спеть, если бы не приехала знакомая нам Катерина Петровна; и так как хозяйка знала, что эта дама очень дружна с Ухмыревым, то и решилась хорошенько отделать их при ней с тем, чтобы она передала им.

— Давно были у Авдотьи Егоровны? — спросила она гостью, усадивши ее на диван.

— Вчера была, — отвечала Катерина Петровна.

— Скоро у них будет свадьба?

— Право, не знаю; не думаю, чтобы скоро: у них еще это не решено.

— У меня всегда сердце надрывается, когда я слышу, как сироты выходят замуж — просто очертя голову. При отце и матери этого никогда не бывает, — произнесла хозяйка сострадательным голосом.

— Этого нельзя сказать про Веру, — возразила гостя.

— Я не про нее и говорю, а вообще; впрочем, и в ее партии ничего не вижу особенного.

— Особенного нет, но они любят друг друга и потому будут счастливы; их пара — немного романическая, но что ж такое? с милым человеком и в хижине бывает рай, — отвечала Катерина Петровна. — Monsieur Salnicoff, давно ли вы здесь, и где вы все это время пропадали? — отнеслась она к Степану Гарасимычу.

— Я был-с болен, в деревне, у маменьки, — отвечал он.

— С вами что-то такое случилось на помолвке; отчего вы вдруг вышли из-за стола?

Степан Гарасимыч покраснел.

— У меня кровь пошла носом.

Катерина Петровна сделала гримасу.

— А я думала, что у вас кровь прилила к сердцу.

— Вы всегда надо мной смеетесь.

— Напротив, я сержусь на вас: вы то говорите мне любезности, то не замечаете меня.

— Я вас всегда замечаю-с.

— Как, например, сегодня? Вы даже не поклонились мне.

— Я вам кланялся, но вы сами не видали: вы стояли ко мне задом.

Катерина Петровна сделала гримасу и начала разговаривать с хозяйкой, которая опять свернула разговор на Ухмыревых.

— Я у Авдотьи Егоровны теперь не бываю, — начала она прямо, — и, конечно, уже более с ними знакома не буду, потому что на все есть свои границы.

— Я ничего не знаю и ничего не слыхала, — заметила гостья.

— Может быть, вы не слыхали и не знаете; но я знаю и решила говорить об этом везде. Вот уж более полугодом они не знают, как двери в моем доме отворяются. Может быть, им у нас и скучно... я с этим не спорю; но все-таки должны бы были соблюсти приличие и хоть бы побеспокоились поздравить меня, именинницу, худа ли, хороша ли я есть; но они и это забыли.

— Они вас не поздравили? — спросила с удивлением Катерина Петровна.

— Даже лакея не прислали, — отвечала хозяйка.

Гостья покачала головой.

— Я их знаю и понимаю давно, Катерина Петровна, — продолжала Анна Михайловна. — Хоть, может быть, вам это будет и неприятно, потому что вы так хорошо с ними знакомы; но все-таки я буду говорить правду. Они очень невежливы, против всех невежливы. Ихняя племянница, я думаю, не проговорила ни с вами, ни со мной, ни с моей дочерью, ни с другими девицами слова. Это мы им прощали. Я с первого раза сказала, что эта девушка

жалкая, и мои слова теперь оправдываются. Она выходит бог знает для чего и бог знает за кого. Но Алексей Сергеич и Авдотья Егоровна — другое дело. Мы их давно знаем, мы их всегда любили и уважали; знаем тоже, какое у них и состояние: гордиться им, право, перед нами нечем...

— Они добрые, — перебила гостя нерешительным тоном.

— Может быть, — отвечала хозяйка. — Но вот я вам расскажу поступки их со мною нынешней зимой: играла я с Авдотьей Егоровной у нее в доме в вист; партия, конечно, была моя — маленькая. Приезжают другие гости; вдруг она, не кончивши нашей партии, составляет другую и за себя посадила играть уж я не знаю кого.

— Она очень любит играть по большой, — возразила опять Катерина Петровна нерешительно.

Анна Михайловна насмешливо улыбнулась.

— Я ей не мешаю в этом; отчего ей не играть по большой: денег у них много, богатых знакомых тоже; но оскорбляюсь невежливостию... Про Алексея Сергеича я не желала бы даже говорить: он решительно необразованный мужик, он на своих вечерах дамам не кланяется, а моего Ивана Иваныча, который уж никак не хуже его, понимает как пешку потому только, что тот молчит и не возражает ему, когда он что-нибудь бормочет суконным своим языком.

— Я во многих отношениях не понимаю этого семейства, — проговорила гостя.

— Прежде я сама считала их, — перебила хозяйка, — за добрых людей, а теперь вижу, что ошиблась.

Катерина Петровна некоторое время еще отстаивала своих хороших знакомых, но потом и сама увлеклась. Невзирая на продолжительное и довольно тесное знакомство с Ухмыревыми, она назвала Алексея Сергеича человеком очень недалким, а Авдотью Егоровну — смешною. Но более всех по ее отзывам пострадала Вера Павловна: она прямо сказала, что эта девушка будто бы на женщину не похожа, так как не имеет никаких чувств и годится только в гувернантки, потому что, кроме книг, ничего не понимает. Согласившись таким образом в своих мнениях об Ухмыревых и о невесте, две дамы довольно долго спорили о женихе, которого хозяйка в грош не ставила, доказывая это тем, что у него нет

ни состояния, ни чина, ни особой красивой наружности.

— Что же в нем остается? — заключила она. — Что волосы назад зачесывает да очки носит, так это еще не велика важность.

Катерина Петровна никак не хотела согласиться с этим. Она клялась, что в этой свадьбе жалеет только молодого человека, который один тут теряет, потому что он с большими достоинствами и далеко бы ушел, если бы не делал глупости и не связывал бы себя этой женьбой.

— Умен, добр, благороден, образован, любимец теперь князя: чего же в нем недостает, и какого же Вере Павловне, по ее состоянию, по ее наружности, по ее болезням и летам, ожидать жениха? Ей бы я совсем запретила выходить замуж: доктор говорит решительно, что у ней чахотка.

Весь этот разговор Степан Гарасимыч слушал весьма внимательно и при последних словах Катерины Петровны вмешался в разговор.

— Вы, Катерина Петровна, неправду говорите, — возразил он, — Вера Павловна не в чахотке-с.

— Я, кажется, не имею причин выдумывать на нее, — отвечала та.

— Вам, может быть, завидно, что она замуж выходит? — бухнул просто Степочка.

— Мне завидовать нечему, потому что я замужем.

— Да что вы замужем-то?! У вас у самих муж больно... вы, я думаю, сами года два его не видали?

Эта дерзость Степочки очень рассердила Катерину Петровну. Она посинела и едва имела духу сказать:

— Вы говорите глупо и дерзко.

— Я говорю-с правду, — пробормотал себе под нос Сальников и начал раскланиваться с хозяйкой, которая снова пригласила его быть у них на вечере.

Дамы еще некоторое время говорили об Ухмыревых.

Вечер у Моросенки, назначенный в пику Ухмыревым, вышел очень недурен; но я бы о нем не стал говорить, если бы герой мой не подпал новому увлечению, которое имело влияние на его действия и, следовательно, на дальнейший ход моего романа. Надобно сказать, что, несмотря на все старание хозяйки сделать у себя общество помногочисленнее, съехалось очень немного и то кое-кто.

Люди позначительнее в городе и играющие в карты, случайно, а может быть и умышленно, были позваны к Ухмыреву и, конечно, туда поехали. Из молодежи, кроме Степочки, никого не было. Улан недели две как уехал к своей сестре, верст за четыреста; Мишель поступил уж в гусары. Из девиц, кроме Ирин Шмаковой, состояло налицо три, из которых только собственно была одна, дочь бухгалтера, несколько замечательная тем, что очень походила на сумасшедшую Офелию. Но при всей малочисленности общества хозяйка сумела одушевить его и после всем говорила:

— У Ухмыревых бывает гостей как сельдей в бочонке, но все-таки зевают, а у меня и двенадцать человек, да навеселились как нельзя лучше требовать.

Не имея возможности составить танцы, Анна Михайловна затеяла разные игры, или так называемые *petits jeux*¹, за которые, кроме молодежи, усадила двух дам и троих мужчин, между которыми был помещен и ее молчаливый супруг. Есть пословица: на безрыбье и рак рыба. В продолжение целого вечера судьба приятно ласкала самолюбие моего Степочки: хозяйка беспрестанно к нему адресовалась с разными разговорами; из мужчин никто над ним не подшучивал; Софи была к нему очень внимательна, приятельница ее тоже, — про прочих девиц и говорить нечего. Сумасшедшая Офелия, когда молодой человек подал ей стул и попросил садиться, переконфузилась совершенно.

— Помилуйте, сделайте милость, не беспокойтесь, — проговорила она.

— Это наша обязанность, кавалеров, беспокоиться о дамах, — отвечал Степочка, расшаркиваясь пред ней.

Игры шли таким порядком: начали *ох, болит*. Читатель, может быть, знает, что в этой игре каждый из участвующих называет себя именем какого-нибудь цветка. Софи наименовала себя фиалкой, Ирин — васильком, сумасшедшая Офелия — ераником и так далее. Степочка был всех изобретательнее: он назвал себя чертополохом. Игру начала старшая хозяйка, которая назвала себя майским розаном. «Ох, болит!.. что болит?.. сердце!.. по ком?.. по чертополохе!..» Чертополох: «Ох, болит!.. что болит?.. сердце!.. по ком?.. по фиалке!..» При

¹ Салонные игры (франц.).

этом случае майская роза самодовольно улыбнулась, а фиалка сконфузилась и объявила, что сердце ее болит по васильке. Василек, с своей стороны, открылся, что тоскует по фиалке, фиалка — по васильке, василек — опять по фиалке, и таким образом раз пятнадцать. Анне Михайловне это не понравилось.

— Софи! играть должны все, — сказала она, и скромная фиалка призналась, что сердце ее страдает по чертополохе, которого это очень утешило.

— Ох, болит!.. что болит?.. сердце!.. по ком?.. по фиалке!.. — произнес Степочка во всеуслышание и шепнул Софи на ухо:

— Вы со мной так же долго поговорите, как с Ариной Васильевной.

— Маменька не приказывает, — отвечала та.

Ох болит переменили на *почту*. В этой игре Степан Гарасимыч морил всех со смеху своими шутками. Он говорил:

— Динь, динь, динь. Кто едет?.. почта!.. с чем?.. с маменькой!..

— С чьей маменькой? — спросил с удивлением один из игравших мужчин.

— С моей, — отвечал Степочка и захохотал.

Прочие тоже засмеялись. Другой раз он сострил таким образом: «Динь, динь, динь!.. Кто едет?.. никого-с, — проехали мимо!» Последняя шутка его более всех рассмешила одну из двух незначительных девиц, которая обнаружила при этом довольно замечательное качество: она захохотала сиплым басом, какого у молодой девицы нельзя было никак предполагать. В игре, называемой *Пантюшка, где ты?* случилось следующее обстоятельство. Игра эта состоит в том, что все становятся в круг, одному завязывают глаза, а другому, также с завязанными глазами, дают в руки колокольчик. «Пантюшка, где ты?» — спрашивает первый; второй звонит колокольчиком. Первый ловит. Степан Гарасимыч ловил, Софи звонила в колокольчик и, чтобы спастись от его преследований, побежала в гостиную, но он за ней, она — в следующую, потом — в спальню и, наконец, в какую-то темную комнату. Сальников не отставал.

— Вам тут нельзя, — проговорила Софи, захлопнув дверь; но Степан Гарасимыч не послушался: поймал ее и с торжеством вывел в залу.

Я боюсь утомить читателя описанием дальнейших подвигов, которые совершил на поприще любезности мой богатый жених в этот достопамятный для него вечер. Но скажу только то, что Софи, по приказанию ли маменьки, или по собственному желанию, с ним явно любезничала. По окончании игр Степочка по крайней мере с полчаса ходил с нею и с Ирин Шмаковой по зале.

— Если бы теперь было лето, мы бы в горелки поиграли. Я очень шибко бегаю, — говорил он между прочим.

— Я сама скоро бегаю, — сказала Сонечка.

— Я шибче вас, — возразил Степан Гарасимыч. — Теперь я отвык, но когда жил в Петербурге, то там ходил больше пешком; от извозчиков никогда не отставал: верст шесть в час проходил.

— Вы долго жили в Петербурге? — спросила Ирин.

— Год и два месяца-с.

— Мы, может быть, с папенькой нынешний год поедем в Петербург, — отнеслась Ирин к Софи.

— Ах, нет, та сhège, не езд; я тебя не пушу: без тебя я умру с тоски, — проговорила Софи.

— Как я вам завидую, Арина Васильевна, — вмешался Степочка.

— В чем?

— Софья Ивановна о вас сожалеет, а вот обо мне никто не пожалеет!

— И у вас, может быть, есть какой-нибудь друг? — сказала Софи.

— Нет-с, никого. Да и что ж друг? он — мужчина; мне бы гораздо было приятнее, если бы меня пожалела какая-нибудь девица.

С Анной Михайловной Степан Гарасимыч имел также весьма значительный разговор. Она подозвала его к себе и посадила рядом с собой на диван, в угольной комнате.

— Что вы не женитесь, молодой человек? — сказала она.

— Судьбы нет-с.

— Полноте. Что это за судьба!.. У вас, молодых людей, это обыкновенная отговорка. Вам непременно надобно жениться; маменька у вас стара, больна. Нет лучше ее ноги?

— Нет-с: все хуже день ото дня.

— Ах, бедная, бедная! я ее уж года два не видала... Утешьте ее: женитесь.

— Я готов, Анна Михайловна; но нынче девицы очень разборчивы.

— Вы это напрасно, Степан Гарасимыч, думаете. Нынче девушкам не должно быть разборчивым. У меня хоть и своя теперь есть дочь на руках, но я вам скажу откровенно, что здесь всякая девица должна счесть за счастье выйти за вас.

При всем простодушии Степочка догадался, какой ему Анна Михайловна давала тон; и так как он вполне соответствовал его вновь задуманным планам, то он начал на Софи смотреть заметно нежными глазами.

II

Недели через полторы по городу огласилась еще помолвка. Степан Гарасимыч сделал предложение Софье Ивановне и получил согласие. Молодой человек еще прежде помолвки необыкновенно развернулся: нанял другую, гораздо лучшую квартиру, привел из деревни, вместо Рыжки, хотя не совсем откормленного, но с хорошими статями гнедого жеребца, купил поезженные чухонские сани и, наконец, собственно для своей особы приобрел енотовую шубу в полтораста рублей серебром и каждый день начал кататься во всем этом наряде по городу. Проезжая мимо дома Ухмыревых, он всякий раз насупливался и принимал какую-то особенно важную позу. Получив слово, он задумал презентовать невесте некоторые из своих золотых вещей. Нельзя сказать, чтобы это решение не стоило ему, по его страстной любви к ценным предметам, большого усилия над самим собою: в первую минуту он было предназначил в подарок свои лучшие брегетовские часы и брильянтовый перстень, но раздумал и подарил только старую золотую цепочку и с самым крошечным брильянтиком мужскую для галстука булавку. Анна Михайловна только пожала плечами, увидев эти подарки, но, рассчитывая на будущее, ничего не дала заметить ни жениху, ни дочери. Так как обязанность автора открывать самые отдаленные причины действий своих героев, то я прямо объясню, что Сальников все это делал, имея в виду досадить Вере Павловне: он

нарочно ездил мимо их дома, желая тем показать, что франтит, веселится и забыл о ней, жестокой, думать; с этою же собственно целью он поторопился даже при-свататься к m-lle Моросенко. До него дошло стороною, что Шамилов после помолвки подарил невесте брильян-товые серьги, — и он своей подарил. Невинная Софи, вследствие маменькиных внушений, которая сумела ей растолковать прелесть быть шестисотной барыней, была в полном восторге и целые дни проговаривала с своим другом Ирин о том, какие у нее будут отличные лошади, модные экипажи, каменный дом, платья, брильянты, и та, с своей стороны, пришла тоже в такой восторг, что хотела оставить папеньку, у которого ей было очень скучно, и переехать жить к приятельнице. Моросенки вме-сте с женихом собирались ехать к Аграфене Кондратьевне, чтобы принять от нее благословение и представить ей будущую невестку, но старуха, узнав об этом, просила не беспокоиться и хотела приехать сама денька на два в город. В доме Алексея Сергеича не было ничего нового, кроме того, что Шамилов начал более заниматься. В по-следнее время между ним и невестой как будто что-то произошло, потому что в разговорах с нею он сделался насмешлив и, когда Вера ему говорила, что очень его любит, двусмысленно улыбался и постоянно называл ее: «Северная женщина!» Милая моя героиня при других вела себя, как и прежде, но в своей комнате каждое утро обливалась горькими слезами. Катерина Петровна, несмотря на то, что в предыдущей главе позволила себе говорить у Анны Михайловны не совсем выгодно о се-мействе Ухмыревых, ездила к ним каждый вечер и очень подружилась с Верой, но более того с Шамиловым, ко-торый даже при невесте называл ее другом своим и, ходя после занятий гулять, завертывал к ней, чтобы вы-пить чашку кофе и полюбоваться ее маленькой, но уди-вительно мило отделанной квартиркой. Квартирка Ка-терины Петровны была действительно прелестна: она состояла всего из четырех комнат, но таких чистеньких, таких светленьких, с таким вкусом меблированных, что столики, кушетки, ковры, лампочки, даже горничная и лакей — все у ней было прекрасное. Из того, что я го-ворил об этой даме, читатель может заключить, что она, кроме некоторой склонности к злословию, была очень хорошего тона, неглупа, весьма недурно образована и

отчасти хитра. Но, зная ее прошедшую жизнь, я к этому прибавлю, что она была с большим характером. Будь на ее месте, в ее семейном положении, другая женщина, то ей бы решительно не пришло в голову убирать с таким вкусом квартиру, ездить разодетою на вечера, балы и обеды. Она была очень несчастлива в замужестве: муж ее был помешан; она лет пять ездила по всевозможным водам, жила в Одессе, на Грязях — ничего не помогало: сумасшествие усилилось до такой степени, что он начал драться, и ей несколько раз угрожала опасность лишиться жизни. Медики посоветовали поместить его в сумасшедший дом, что Катерина Петровна и исполнила; а теперь приехала в свою губернию, чтобы поустроить хоть сколько-нибудь дела по имению. В этих несчастиях, как видит сам читатель, она не потерялась и старалась по возможности рассеять себя. Однако у ней каждый раз наворачивались на глазах слезы, когда ее спрашивали о несчастном страдальце.

В одно утро Катерина Петровна встала по обыкновению в одиннадцать часов, в продолжение двенадцатого оделась и начала пить кофе. Хорошенькая горничная доложила:

— Петр Александрыч!

И вслед за тем вошел Шамилов.

— Bonjour! — сказала хозяйка.

Шамилов поклонился и сел.

— Что Вера? я ее вчера не видала.

— Ничего, — отвечал тот, закуривая сигару и наливая себе кофе.

— Я сейчас получила письмо от Карелина: вам кланяется и пишет, что умирает со скуки; только и рассеяния, что возит в тележке по горницам сестриных детей, у которой их целая дюжина.

— А у вас с ним переписка?

— Нет. Это что за вопрос, и таким тоном?

— Он вас очень интересовал?

— Перестаньте, бог с вами! Конечно, он очень мил, недурен собой...

— Он мил, недурен собой и глуп — три качества, с которыми весьма удобно нравиться женщинам.

— Вы сегодня злы, — нельзя ли узнать только на кого?

— На всех и на все.

— Верно, опять с Верой поссорились.

— Если я поссорился, и поссорился теперь окончательно, то, конечно, не с кем более, как с самим собой.

— Это что за новость?

— Вовсе не новое, а, напротив, очень старое. Можно ли себе вообразить человека, который был бы в таком глупом положении, как я? что я теперь делаю? женюсь? нет! Свадьба будет бог знает когда! учусь? Нет! науки с любовью не очень ладят! Князь вон теперь все хворает, от этого дяденьки и тетеньки никакого, конечно, и толку ждать нечего. Но пусть бы все это вознаграждалось любовью и симпатией со стороны Веры? Клянусь моей честью, люби она меня так, как я понимаю любовь, будь в ней это женское самоотвержение, которое одно и составляет счастье в любви, — я забыл бы все и жил бы этим чувством. Но вы знаете Веру: она умна, хороша, образована, мечтательна, но и только. Она верит, как в дважды два — четыре, что может на свете существовать рыцарская любовь и что во имя избранной красавицы можно терпеть и ждать целые годы с тою перспективою, чтобы быть осчастливлену и вознаграждenu поцелуем ручки.

— Чего же вы хотите?

— Ах, боже мой, чего! К чему откладывать свадьбу? Если нужно, беги со мной, но...

— Вы очень нетерпеливы, Шамилов: надо ждать.

— Чего же ждать, позвольте вас спросить?

— Это вы лучше должны знать.

— Никто этого не знает, поверьте мне. Мы ждем и сами не знаем чего, — проговорил Шамилов, встал и большими шагами начал ходить по комнате.

— Если говорить откровенно, то мне вас жаль, Петр Александрыч, — начала хозяйка. — Я не понимаю Веры; я не могла бы так любить, как любит она.

— Еще бы! вы и она — есть маленькая разница; вы не северная женщина: у вас есть энергия; вы можете влюбить в себя человека безумно и сами его так же полюбите; вы не станете бояться того, чтобы не огорчить дяденьку, тетеньку и всю эту родственную обстановку.

— Я в жизнь свою никогда ничего не рассчитывала, а в любви была просто сумасшедшая; доказательство — мое замужество. Я вышла за моего мужа, когда все были

против этого, потому что в нем уже и тогда были эти несчастные припадки.

— А после разве вы не любили?

Катерина Петровна вздохнула.

— Нет, — проговорила она.

— И не думаете полюбить?

— Не знаю; да и что пользы в том! мы, влюбленные старухи, бываем только смешны.

— Вы старуха?

— А как же? мне двадцать семь лет... И сколько я перенесла в жизни! Припоминая прошлое, я удивляюсь, как достало у меня столько сил, что я жива до сих пор.

— Не жалуйтесь на это, Катерина Петровна! Ничто так не развивает и не возвышает женщину, как жизнь и несчастье. Вера нам живой пример оранжерейного, тепличного воспитания; в ней все умно, логично, последовательно, но сердца — нет! оно убито, — убито наукой и абстрактным германским романтизмом. Страсти она понимает в идее; она будет сочувствовать им в книге, но, встретя их в жизни, испугается. По-моему, пусть женщина будет суетна, ветрена, глупа, но только чтобы жила сердцем, а не мозгом.

— Я с вами не согласна, Петр Александрыч, насчет Веры. Она холодна не столько по воспитанию, сколько по своему флегматическому характеру: она девушка больная, еще теперь стала несколько здоровее, а прежде почти через день хворала.

— Послушайте, — перебил Шамилов, — я хочу с вами говорить откровенно, потому что, ей-богу, у меня сил недостает держать все на душе! На первых порах она меня очаровала; но потом никакого развития в страсти ни в ней, ни во мне, и первого сравнения, которое я сделал ей с женщиною, созданною непосредственно жизнью, она не выдержала.

— С кем же это вы ее сравнили? — спросила хозяйка.

— А вы не знаете?

— Нет.

— С вами. Чему же вы удивились?.. Вы — женщина в глубоком значении этого слова — женщина, а она — нет.

При этих льстивых словах молодого человека Катерина Петровна растерялась.

— Я не ожидала, чтобы вы были такой повеса, — произнесла она, качая головой.

— А вы находите, что я только повеса и больше ничего?

— Да, или по крайней мере очень странный человек.

— Послушайте, Катерина Петровна, — воскликнул Шамилов, останавливаясь перед ней, — не удивляйтесь и не упрекайте меня! Знаете, есть один герой романа, называемый Рене ¹, про которого говорят, что он подстреленный орел? Прочитайте этот роман, и вы тогда поймете меня. Во мне много сил, и не такое бы мне поле разрабатывать.

Катерина Петровна пожала плечами.

— Но я все-таки не понимаю, чего вы хотите и чем недовольны.

— Когда не понимаете, тем хуже для меня, — проговорил молодой человек и взялся за шляпу.

— Куда же вы? — спросила она с удивлением и неудовольствием.

— «Нет, нет, не смею, не могу волнениям любви безумно предаваться» ², — проговорил ей вместо ответа Шамилов и, поцеловав у ней руку, пошел.

Катерина Петровна кричала было вслед ему посидеть хоть немного, но он не вернулся. По походке и по выражению лица видно было, что дорогой его занимала какая-то беспокойная мысль. Придя домой, он, не снимая теплого пальто, схватился за перо и начал писать на листе почтовой бумаги:

«Катерина Петровна!

Знаю, что стыдно и неприлично мне открыть вам то, что я хочу открыть, но «явен грех малу вину творит». Мне мало вашей дружбы: я хочу любви, — той любви, к какой вы способны, энергическая душа!..»

— Алексей Сергееч заехал за вами, — проговорил над самым его ухом ухмыревский лакей в ливрее, так что Шамилов вздрогнул, и первым его делом было изорвать начатое письмо на мелкие куски.

¹ Рене — герой двух произведений французского писателя Шатобриана (1769—1848) — «Атала» и «Рене».

² Из стихотворения А. С. Пушкина «Нет, нет, не смею».

— Кто? — спросил он с сердцем.

— Алексей Сергеич, с барыней и с барышней, обновляют новые сани и вас зовут.

— Хорошо, приду; ступай.

Лакей ушел.

Петр Александрыч нехотя надел шляпу и пошел за ним.

— Ах ты, воля, моя волюшка, ты прошла, знать, миновалася.

В санях ему было оставлено место наперед, рядом с Алексеем Сергеичем.

В продолжение всего катанья Шамилов молчал; Вера была грустна и только по временам взглядывала робко на жениха. Алексей Сергеич занят был по преимуществу тем, что наблюдал за впечатлением, которое производят на всех встречных его новые сани. Авдотья Егоровна, боявшаяся очень холоду и выехавшая в открытом экипаже из угождения только мужу, куталась в шаль, салоп, муфту и т. п. Таким образом, катающиеся, объехав раза два весь город, не проговорили почти ни слова. Ухмырев, завезя барынь и Петра Александрыча домой, сам поехал делать визиты. Озябнувшая Авдотья Егоровна ушла к себе в спальню, чтобы обтереться вином и напиться горячего чаю.

Вера осталась с Шамиловым вдвоем. Разговор у них не начинался. Петр Александрыч задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Вера как будто бы глядела в окно. Прошло по крайней мере четверть часа в молчании.

— Ты не любишь меня больше, — проговорила, наконец, Вера тихим голосом.

Шамилов горько улыбнулся.

— А вы меня любите?

— Ты, кажется, видишь.

— Вижу, Вера: это-то мое и несчастье, что я очень хорошо все вижу.

— Что же ты видишь?

— А то, как вы осторожно и умеренно любите. Такого рода спокойное чувство в жене простительно, а в невесте немного рано.

Вера заплакала.

— Вера! это невыносимо, — начал Шамилов, — с вами невозможно говорить. После первого мозго откровенного слова вы начинаете плакать.

— Вы сами заставляете меня плакать... ваше недоверие, ваш насмешливый тон: за что все это? Если вы чем-нибудь недовольны мной, скажите мне прямо.

Шамилов ничего не отвечал, но, отойдя к столу, сел, схватил себя обеими руками за голову и задумался. Вера внимательно посмотрела на жениха, как бы желая узнать, что у него на душе, и ей стало жаль его. Она встала с веселой улыбкой, подошла к нему потихоньку и поцеловала в голову; но Петр Александрыч не заметил этого. Вера села рядом с ним на диван и взяла его руку, но он оставался в прежнем положении.

— Пьер! за что ты на меня сердиться? — проговорила добрая девушка.

— Друг мой! — начал он полутрагическим голосом, — нам невозможно оставаться в том двусмысленном положении, в котором находимся теперь, потому что мы с каждым днем утрачиваем веру в взаимную любовь нашу.

— Что же нам делать?

— Три выхода из нашего положения: первый, как я прежде тебе говорил, просить твоих родных обеспечить нас и послезавтра же обвенчаться.

— Это невозможно, Пьер: у дяди ничего нет, он весь в долгах.

— А князь?

— Князь мне посторонний человек; он и то много сделал для меня. Больше я ничего не в состоянии у него просить.

— В таком случае, — начал Шамилов, — решишь идти под венец так, как ты сидишь теперь, в одном этом платье, и поедем в Москву. Я откажусь от всех моих надежд и буду давать уроки.

— На это не согласятся родные.

— Убежим.

— Нет, Пьер... я не могу, я не должна на это согласиться... я скорее умру, чем позволю себе обременить тебя, когда ты сам еще не имеешь ничего определенного.

— Стало быть, ни то, ни другое вам не нравится; но есть третий выход: я послезавтра же еду в Москву и буду пристраивать свою голову, как и где бог приведет.

— Зачем же послезавтра? — спросила Вера, побледнев.

— Затем, что здесь я только теряю время: вблизи вас, Вера, я заниматься не могу, надеяться ни на кого и ни на что не должен, потому что все думают только о самих себе и весьма расчетливо обставляют свою личность, так что проигрываю один только я. Но во всяком случае даю вам честное слово, что в год или, может быть, менее, составлю себе карьеру, с приятною надеждою, что со временем и вы решитесь выйти за меня, если только в продолжение этого времени не представится вам более выгодная партия, которую я не только не стесняю вас принять, но даже советую, — потому что самое благоразумие, — а его у вас так много, — ясно говорит, как мало надобно надеяться на мальчишку, который, может быть, и нравился, но слишком был...

— Не доканчивайте, Петр Александрыч! — перебила Вера. — Вы слишком уж много сказали. Время покажет, кто из нас прав и кто виноват. Если вам нужно, поезжайте хоть сегодня же, а я вас буду всю жизнь любить, чем бы вы ни были и где бы вы ни были.

Далее Вера не в состоянии была говорить: у нее захватило дыхание; она встала и ушла в свою комнату. Шамилов остался на прежнем месте.

К обеду Вера, впрочем, вышла, но у ней был такой дурной цвет лица, что Авдотья Егоровна испугалась.

— Что с тобой, ангел мой? Ты на себя не похожа, — спросила она.

— Ничего, ma tante, я давеча озябла... до сих пор не могу согреться.

— Как же быть такой неосторожной! оделась легко и, приехав, не напилась ничего теплого.

— Угодно вина? — сказал Шамилов, наливая рюмку.

— Не хочу, — отвечала Вера, — так пройдет.

— Выпить надобно-с, — заметил дядя.

Но Вера не выпила и ничего почти не ела. Шамилов также почти не ел, но вина выпил несколько рюмок.

— Я некогда читал, — начал он, — не помню в каком журнале, повесть, названную «Кокетка»... удивительно хороша!

— Что такое? — спросила Авдотья Егоровна. — Верно, опять что-нибудь смешное расскажете?

— Нет-с, напротив, очень печальное. Тут выводится один молодой человек, живой, страстный, очень неглупый, но слишком молодой. На первом же шагу в боль-

шой свет он встретил одну девушку, красавицу, богатую и светскую. Она была окружена толпою поклонников, в фалангу которых и он попал.

— Врезался, значит, — объяснил Алексей Сергеич.

— Именно врезался, и врезался до сумасшествия: его заметили, или, лучше сказать, предпочли. Ему позволили говорить о любви и даже с своей стороны как будто бы что-то подобное высказывали. Два года следил он за ней как тень, потерял в это время службу, здоровье, состояние, блестящую партию, которую приготавливали было для него родные. Но вот в один прекрасный день приезжает он к ним в дом, и ему торжественно объявляют, что она выходит замуж за старика уроды, но богача.

— Как часто в свете это бывает! — произнесла Авдотья Егоровна.

— Бывает-с. Дело в том, что молодой человек, на первых порах, молил не обманывать его, беспрестанно высказывал сомнение в ее чувствах, — молил, чтобы она одним разом покончила его страдания; но она или сердилась на него, или отыгрывалась словами.

— Зачем же все это она делала? — спросил Алексей Сергеич.

— Это объясняет заглавие: «Кокетка», — отвечал Шамилов.

С Верой сделался кашель, так что она принуждена была закрыть лицо платком.

— Запей водой, душа моя... Что это сегодня с тобой? — отнеслась к ней Авдотья Егоровна. — Чем же кончилось, Петр Александрыч?

— Кончилось драматически; она получила аналогическое наказание: в одну ночь, которая у нее не занята была балом, он подкупил людей и вошел в ее будуар, худой, бледный, и следующую к ней речь повел: «Вы умерщвляли меня нравственно два года и достигли этого; сердце и ум мои убиты; теперь я пришел к вам, чтоб вы убили меня физически; вот яд, отравите меня — это последняя моя к вам просьба», и с этими словами подает ей небольшой пузырек. Она испугалась, схватилась за стеклянку, которая лопнула, и жидкость брызнула ей на лицо. Яд обезобразил ее, а он сошел с ума.

— Ну, вряд ли это может быть, это сказки, — заметил Алексей Сергеич.

— За конец не спору: он придуман, и придуман не совсем удачно, но предыдущее все справедливо и часто повторяется в жизни.

Мы легко можем догадаться, с какой целью Шамилов рассказывал эту интересную повесть, в которой даже кое-что переменял, сообразно с своей задней мыслию. На чей счет все это было говорено, тоже поняли. Вера едва имела силы дойти до наугольной и, закутавшись в мантилью, села на диван; с ней сделался лихорадный припадок. Авдотья Егоровна советовала ей идти лечь в постель и выпить мяты, но она отказалась. Алексей Сергеич велел Шамилову приготовить экипаж. Когда лошади были готовы, Петр Александрыч пришел проститься с невестой.

— Куда вы? — спросила она.

— Домой: заниматься надо.

— Какую вы славную повесть рассказывали!

— Хороша-с.

— Сегодня мы, верно, с вами не увидимся? Вы, может быть, еще захотите припомнить или сочинить какую-нибудь историю вроде давешней.

— Мне не для чего сочинять; достаточно, если я стану рассказывать, что со мною самим происходит, — произнес он, протягивая руку, которую Вера взяла и крепко сжала; но Шамилов не ответил ей тем же.

После описанного мною дня Вера Павловна сделалась серьезно больна, так что Шамилов перепугался: он целый день сидел в ее комнате, сам подавал ей лекарство и беспрестанно спрашивал, лучше ли ей. Авдотья Егоровна не менее Петра Александрыча встревожилась и почти не отходила от больной. Она с ужасом рассказала всем своим знакомым о болезни Верочки следующим образом: «Мы были с Алексеем Сергеичем на вечере. Она не поехала с нами и говорила, что не так хорошо себя чувствует; но я думала, что просто поленилась, и была так покойна, — но, приехав, обмерла, потому что нашла ее, бедненькую, в такой истерике, какой со мной никогда не случалось, хоть и я подвержена этой ужасной болезни выше всяких слов». Алексей Сергеич мало обращал внимания на болезнь племянницы и все это время был в полном самодовольстве: на днях он целое утро сидел у князя; вместе с ним был Шмаков и помещик охотник, у которого на той неделе должна

была состояться свадьба дочери, и потому он униженно просил его сиятельство быть посаженным отцом. Но князь, ссылаясь на болезнь, решительно отказался. Шамаков тоже был довольно сухо принят, несмотря на то, что он, по бойкости своего характера, завел было продолжительный разговор о своих значительных петербургских знакомых; но хозяин не дослушал и обратился к Алексею Сергеичу: давно ли и чем именно больна Вера? Кроме этого лестного предпочтения от князя, Ухмырев последнее время с большим успехом играл у одного приезжего помещика, переезжавшего обыкновенно из одного города в другой и заводившего везде довольно серьезную игру. Алексей Сергеич в душе уважал этого помещика, потому что постоянно видел его с большими деньгами и постоянно играющим по большой сумме.

С самой болезни Шамаков сделался к невесте по-прежнему ласков и нежен: о происшедшей размолвке ни она, ни он не говорили ни слова; поездку в Москву Петр Александрыч или отложил, или по крайней мере не упоминал о ней. Катерина Петровна ездила к Ухмыревым довольно часто и обнаруживала к Вере необыкновенное участие и даже некоторым образом лезть.

— Вы, Вера, еще похорошели; как идет к вам эта бледность! — говорила она.

Но к Шамакову она переменилась совершенно: очень мало говорила с ним, и если относилась иногда в общем разговоре, то с явным желанием уколоть. Петр Александрыч на все ее насмешливые замечания или отшучивался, или молчал; но, наконец, в один из вечеров они явно поссорились.

— Петр Александрыч, — сказала Катерина Петровна, — отчего вы, ездив каждый день мимо меня, так нынче недобры, что ни разу не хотите завернуть ко мне: так друзьям не следует делать. Вера Павловна, я вам жалею на вашего жениха.

— Отчего же ты не хочешь заехать? — спросила Вера.

— Очень просто: я тороплюсь видеть тебя, — отвечал, нахмурившись, Шамаков.

— Право? — воскликнула Катерина Петровна.

И воскликнула так недоверчиво, что Вера и Авдотья Егоровна посмотрели на нее с удивлением и переглянулись между собой.

Шамилов еще более нахмурился и молчал.

— Он со мной не хочет говорить, — заметила Катерина Петровна.

— О чем же мне прикажете с вами говорить? — возразил Шамилов.

— А, *mon Dieu!* я вам и не думаю приказывать: для меня, право, все равно.

— Видно, не все равно.

— Нет-с, все равно, ей-богу, все равно.

— Вы, кажется, не на шутку пикируетесь, — заметила Авдотья Егоровна, желавшая прекратить эту сцену.

Но Катерина Петровна не унималась и продолжала:

— Как нынче друзья переменчивы: несколько дней назад Петр Александрыч поверял мне все свои задушевные тайны, а теперь даже говорить не хочет; чем я тут виновата?

— Какие же это ты тайны поверял? — спросила Вера.

Шамилов побледнел.

— Не знаю: я никакой им не поверял, скорее выпытывал их тайны.

— Никакой?.. Ах, вы, несправедливый человек! — воскликнула Катерина Петровна. — Ну, смотрите, я вас выведу же на свежую воду.

— Сколько вам угодно! и на вся и все, что вы станете при мне и обо мне говорить, я не буду ни возражать, ни оправдываться.

— Это для вас будет самое лучшее, — сказала Катерина Петровна.

И, посидев немного, уехала. При прощании она сказала со вздохом Вере:

— *Je souhaite, Véra, que vous soyez heureuse avec votre futur mari*¹.

— Пьер, что такое у вас? — спросила та с беспокойством Шамилова.

— Ничего особенного: эта женщина ниже слов; я знаю про нее ужасные вещи, она теперь боится меня и хочет запугать, — отвечал он.

— Я сама нынче разлюбила ее: она никого не оставит в покое, всех пересмеет и о каждом скажет что-нибудь дурное, — проговорила Авдотья Егоровна.

¹ Я желаю вам, Вера, быть счастливой с вашим будущим мужем (франц.).

На другой день она подробно рассказала Алексею Сергеичу весь разговор с Шамиловым и просила его объяснить, что такое все это значит.

— Ничего не значит: болтают, — отвечал тот, — их обоих надобно князем пугнуть.

III

В начале масленицы, на которую готовилось много удовольствий, разнеслась совершенно неожиданная весть: князь в ночь на 16 февраля умер скоропостижно. Если вы, читатель, припомните, какое большое участие принимал он в свадьбе и вообще в делах Веры, Шамилова и Ухмыревых, то можете себе представить, как все они были поражены.

— Батюшки, что это такое? Что мне теперь делать? — воскликнул Алексей Сергеич.

— Что же такое, cher Alexis? — спросила его просто-душно Авдотья Егоровна.

— Как что? — воскликнул, по обыкновению, с азартом Ухмырев: — для чего же мы свадьбу-то затевали!

— Как для чего?

— Так. Князь теперь помер: жени, пожалуй, их, да и возьми на свои плечи.

— Может быть, как-нибудь и устроится.

— Чему тут устроиваться! Я уступил тут только желанию князя.

— Но нельзя же, Alexis, нам теперь что-нибудь предпринимать против этого.

— Я ничего и не предпринимаю... не беспокойтесь! а только говорю, что отступаюсь: делайте, как хотите, а на меня не надейтесь. По моим летам мне впору о себе да о тебе думать, — проговорил Ухмырев и уехал играть в карты к уважаемому им помещику.

Шамилов, услышав о смерти князя, пришел в странное и неприличное для мужчины отчаяние и обнаружил при этом случае какое-то чисто женское малодушие: вместо того чтобы успокоить полубольную и огорченную Веру, он в присутствии ее начал просто бесноваться, ходил беспокойными шагами по комнате, схватившись за голову, колотил себя в грудь и только что не плакал.

— Я это предчувствовал, — говорил он, — это новая шутка надо мной судьбы: князь полюбил меня, хотел и мог упрочить мое благополучие и, конечно, не дал бы задохнуться моим способностям и моей до сих пор бес-
полезной молодости. Но где и с чем остался я тепе-
что у меня впереди? бедность, неблагодарный труд и больше ничего.

— К чему ж, Пьер, такое отчаяние! ты молод: надейся больше на себя; мало ли чем ты можешь быть.

— Нет, Вера, я не хочу обманывать пустыми надеждами ни себя, ни тебя: у нас ни в будущем, ни в настоящем ничего нет.

— А любовь?

— Умоляю тебя, не говори этого слова: мне страшно его слышать, и страшно не за себя, — я знаю свой дальнейший путь, — но за тебя, друг мой. Я готов просить тебя: разлюби и презри меня, употреби на это всю силу твоей воли; я не стою твоей любви: я — ничтожный человек и без помощи князя не буду ничем. Зачем же тебе свою судьбу связывать с моей? Оттолкни меня.

Вера пристально посмотрела на жениха.

— Будем, Пьер, говорить о чем-нибудь другом. Ты встревожен сегодня, я — тоже: пощади и меня, — проговорила она.

Шамилов сел на отдаленное кресло и задумался. Вера начала было расспрашивать, как идут его занятия, не задумал ли он писать чего-нибудь, просила его почитать ей что-нибудь — Петр Александрыч отвечал односложно и читать решительно отказался.

На другой день был назначен парадный вывоз тела князя. За катафалком его следовали: все городское духовенство, все чиновники, состоявшие при нем и погруженные в искреннюю печаль, и все, наконец, уездные чиновники, погребавшие его с притворным чувством, как мыши kota. Все они были, разумеется, в полных мундирных формах. Сзади тянулись экипажи почти всех городских жителей. Впереди всех ехал Алексей Сергеич с Авдотьей Егоровной в карете, обитой снаружи черным сукном, и с кучером и лакеем, тоже облеченными в глубокий траур. Вера по случаю болезни была дома. Шамилов остался при ней, и оба они смотрели в окно на печальную процессию. Сначала она разрыдалась, а потом опять занемогла сильнее прежнего: у нее открылось, по словам

доктора, вроде горячки. Несмотря на тяжкую болезнь невесты, Шамилов приходил к ней очень ненадолго: с самой смерти князя положение его в доме Ухмыревых сделалось странное и неприятное. Алексей Сергеич едва удостоивал его двух-трех слов в день, и то с явным пренебрежением. Авдотья Егоровна, как и всегда, подражала мужу. Просиживая целые дни дома, Петр Александрыч ничем не занимался и только ходил по комнате и вздыхал. Так прошло две недели. Вера оправлялась очень медленно.

Возвратился от сестры улан Карелин и, объехав весь город, завернул к Шамилову, который очень обрадовался приезду приятеля.

— Как я рад, что вы вернулись, — говорил он, обнимая Карелина, и, зная, что тот любил завтракать с вином, тотчас же распорядился по этому предмету.

— Когда ваша свадьба, Петр Александрыч? — спросил улан.

— Сам не знаю.

— Уж не расклеилась ли?

— Это с чего вам пришло в голову?

— Здесь как в трубу трубят. Ухмырев сам на днях говорил, что свадьба вряд ли состоится и что они думают отказать вам.

— Кому же это он говорил? — спросил Шамилов довольно равнодушно.

— Не знаю, кому именно, но, я думаю, всем, кто тут был; мне в каждом доме об этом рассказывали.

— Его воля: как хотят, так и делают.

— Вот как поговаривать начали; ну, невеста что же... она вас любит?

— Я думаю.

— Так как же? Я бы на месте вашем этому господину зажал рот.

— Семейные дела судить трудно; и я вам скажу только одно, что я люблю Веру, дал себе слово посвятить ей всю жизнь; она будет моя; хоть бы целый мир был мне препятствием.

— А здесь говорят другое, — возразил улан, — Катерина Петровна сказывала мне, что вы и за ней ухаживали, признавались ей, что не любите Веру Павловну, а женитесь на ней по видам, чтобы угодить князю.

— Что Катерина Петровна есть мой лютейший враг — это я знаю давно, а какого рода были мои с ней отношения, об этом я, как благородный человек, считаю за лучшее молчать и предоставляю ей полное право говорить обо мне все, что ей вздумается.

— Зачем же вы ей меня бранили... что я вам сделал?

— Если вы ей верите больше, чем мне, то мне остается только сожалеть, но оправдываться я не хочу.

Так разговор продолжался в том же тоне. Улан хотел было ехать, но Шамилов просил его посидеть.

— Останьтесь: мы выпьем с вами. Мне так грустно, так тяжело, что я готов сделаться пьяницей; но еще куда одному пить совестно — составьте компанию.

— Можно.

— Что вы любите по преимуществу?

— Все люблю.

Подали вино и закуску. Молодые люди чокнулись и выпили по стакану вина; хозяин тотчас же предложил повторить.

— Да вы, однако, славно напрактиковались в это время... а то помните, какой были неженка.

— Мало ли чем я когда-то был; теперь я не тот... судьба надо мной удивительно тешится.

— Что такое?

— Я теперь в ужасном положении... не знаю, как вы понимаете меня, Карелин: но видит бог, что натура моя не пошлая... я недюжинный человек и не мог быть чем-нибудь выше жалкой посредственности, или, по другому выражению, благоразумной середины, — но теперь во мне многое уже убито или убьется со временем окончательно, потому что, женившись, я из-за куска хлеба должен буду взять на себя трудную обязанность домашнего учителя.

— Насчет состояния я вам говорил еще прежде...

Шамилов задумался и вздохнул.

— Вы, Карелин, человек практический и в то же время благородный; я сделаю вам один вопрос: хорошо ли мужчине и свою энергию и данные ему богом способности принести в жертву любви, которой, конечно, каждый из нас готов предаться всякий год, и всякий год утратить ее и заменить новую привязанностью? Вот мой вопрос; разрешайте его.

— Очень легко: вам просто не хочется жениться.

— Тут дело не в желании... мало ли мы чего желаем под влиянием страсти! Но я спрашиваю: должен ли я рисковать на безрассудный брак и губить себя во имя любви к чудной и прекрасной девушке, которой наперед знаю, что не принесу никаких радостей?

— Зачем же вы ухаживали за ней? Это нечестно... Будь я ее брат, я бы за одни слухи, которые ходят по городу, вытянул вас на барьер.

— Вы не понимаете меня: я не ухаживал за ней, но я полюбил и люблю ее... Нас свела судьба на взаимное несчастье, — возразил Шамилов.

— Да вас и понять невозможно: вы какой-то удивительный фантазер: то говорите, что любите эту девушку и что всю жизнь хотите посвятить для нее, то идете на гибель. Я бы за вас не рискнул отдать ни сестры, ни дочери.

— Понять вы меня можете, но не хотите... впрочем, прекратим этот разговор, который мне очень тяжел, — проговорил Петр Александрыч с неудовольствием.

— За что ж вы сердитесь? Я сказал вам по дружбе. Шамилов насмешливо улыбнулся.

— С некоторого времени я очень стал бояться друзей: большая часть из них доказывали мне это чувство тем, что брали себе право перетолковывать все мои поступки и слова в дурную сторону; а это для меня не совсем приятно.

— Прощайте, — произнес улан, вставая, — вы сегодня не в духе, верно левой ногой с постели встали.

— Я не встал левой ногой с постели, но в жизнь шагнул неудачно.

— Ну, меланхолия.

— Погодите, Карелин, не обижайтесь моими словами: я не могу быть не раздражителен: в это время меня все терзало; положите вашу фуражку. Я люблю Веру безумно, вы превосходный человек по одному уже тому, что отстаиваете ее права. Выслушайте меня: на днях я должен ехать в Москву; она теперь больна, и около нее почти никого нет. Наблюдайте за ней, навещайте ее и уведомляйте меня... будьте столько обязательны, не откажите мне в этой просьбе.

— Это что еще за идея пришла к вам в голову! нашли какого наблюдателя! Я в этих делах бывал

обыкновенно действующим лицом, а в посредники вряд ли гожусь.

— Не шутите, Карелин, а лучше возьмитесь за доброе дело и дайте мне слово уведомлять меня, здорова ли она, жива ли. А то мне и этого не напишут.

— Хорошо. Вы, однако, ужасный чудак. Когда ж думаете ехать?

— Дня через два.

— Еще увидимся.

— Непременно.

Простившись с уланом, Шамилов по крайней мере часа два ходил взад и вперед по комнате и все что-то обдумывал; потом отправился к невесте.

— Вера Павловна? — спросил он попавшегося ему в зале Алексея Сергеича.

— У себя-с в комнате, — едва ответил Ухмырев.

Вера сидела в креслах и была очень еще слаба; перед ней стояла Авдотья Егоровна и терла ей виски одеколоном.

Шамилов поцеловал руку у невесты и церемонно поклонился тетке, которая ему отвечала тем же.

— Где ты был утро? — спросила Вера.

— Дома; меня задержал Карелин: часа два сидел, — отвечал Шамилов и, усевшись на отдаленное кресло, взял близлежащую книгу и будто бы углубился в чтение.

Авдотья Егоровна, постояв немного, вышла.

— Как ты чувствуешь себя, Вера? — сказал Шамилов, тотчас же вставая и подходя к невесте.

— Сегодня мне лучше; голова только дурна.

— Ты решительно себя не бережешь, друг мой.

— Как же мне беречь себя?

— Очень просто: не тревожить и не волновать себя всякими пустяками.

Вера вздохнула.

— Разве ты сам не был встревожен... помнишь, перед моей болезнью! — сказала она.

— Ах, боже мой! В первую минуту я, конечно, поддался бесполезному отчаянию; но у человека, кроме сердца, есть еще ум, который охлаждает и наши радости и наши горести, — возразил Шамилов. — Мы с тобой, Вера, в таком положении, — продолжал он, — что одна только сила воли с нашей стороны может спасти нас.

Можешь ли ты, друг мой, выслушать меня, что я хочу сказать тебе?

— Говори.

— Мне надобно ехать в Москву.

— Когда же?

— Послезавтра.

— Послезавтра пятница — не езди: это тяжелый день!

— В таком случае в субботу.

— Поезжай... — проговорила Вера.

— Если ты будешь плакать и будешь расстраивать еще больше свое здоровье, я не в состоянии буду ехать: останусь здесь и буду до конца губить мою карьеру. Друг мой! пожалей и меня: я близок к сумасшествию, я готов сделаться пьяницей... Согласись только с тем, что ни у тебя, ни у меня ни на кого теперь нет надежды, кроме как на свои собственные усиленные труды, которые возможны для меня только в Москве.

— Что же ты будешь делать в Москве? — спросила Вера.

— План мой вот каков: я тотчас же по приезде выдержу на кандидата; потом, так как для нас всего нужнее деньги, наберу частных уроков: у меня много знакомых профессоров, старых товарищей, и все они, я уверен, не откажутся пособить мне в этом. Я буду иметь, положим, семь уроков в неделю, по два рубля серебром — четырнадцать рублей; в месяц — почти шестьдесят, в год — семьсот, да с имения триста, итого около тысячи рублей серебром; сверх того, я буду работать в журналы; если не успею приготовить чего-нибудь своего серьезного, займусь переводами, за которые любой журнал мне даст двадцать рублей серебром. Вот тебе мои доходы, которых, право, очень достаточно для нашего существования: я знаю семейных людей, которые на две тысячи живут превосходно; мы найдем хорошенькую, около Сухаревой башни, квартиру, которые там дешевы. будем держать двоих людей.

— А служба как же?

— Службу я возьму какую-нибудь легкую; но, собственно говоря, мне нужен только свободный вечер, который я посвящу урокам, а ночь — литературным занятиям. Здесь же я, покуда все это устроится, имею в виду одного человека, который будет доставлять мне о вас подробнейшие сведения.

— Кто такой?

— Карелин.

— Это зачем? что у тебя за дружба с ним?

— Ты несправедливо предубеждена против него: он человек неглупый и в высшей степени благородный и искренно тебе преданный.

— Ты почему знаешь?

— Я его сегодня немного испытал: он мне передал, что твой дядя где-то там говорил, что свадьба наша не состоится; я притворился и нарочно сказал ему, что это очень возможно. Представь себе, он вышел из себя и объявил мне пренаивно, что если бы был твоим братом, то вызвал бы меня на дуэль.

— Для чего ты так говорил с ним? — сказала Вера, качая головой, — он хорошенько не поймет твоих слов и будет их рассказывать всему городу.

— Заблуждаетесь в отношении этого человека; вы его узнаете и оцените впоследствии.

Вера Павловна более не возражала.

Странное было ее душевное состояние. Она была умна и давно уже поняла своего жениха, и очень хорошо видела, что он ее разлюбил. Гордость в ней заговорила. Она видела, что это — человек фразы, которого ни любить, ни уважать не стоит. «Что ж такое, ошиблась...» — говорила она сама с собой, утешая себя мысленно, а между тем в голове ее зрел новый план, полный самоотвержения и душевной муки.

Шамилов, обрадованный возможностью уехать в Москву, забыв всякую деликатность, веселился, как малый ребенок.

— Опять туда, в мою родную Москву!.. — восклицал он. — Опять сойду с моими добрыми, образованными друзьями, потому что здесь, видит бог, я постоянно страдал: одна только ты мне и сочувствовала.

— А Карелин и Катерина Петровна? — спросила его Вера.

— Не укоряй меня, Вера, этими людьми: Карелин прекрасный малый; а Катерина Петровна, твой дядя, тетка, — одним словом, все мои недоброжелатели — бог с ними, я им прощаю.

Часу во втором Шамилов поехал проститься с городскими жителями и на этих прощальных визитах вел себя вовсе не так, как следовало бы жениху, разлучаю-

щемуся надолго с невестой: он был весел, любезничал с дамами и девицами и у всех просил дать ему в Москву какое-нибудь поручение, которое обещался исполнить тотчас же. Между прочим, он был у Анны Михайловны Моросенко и у Катерины Петровны, из которых первая двусмысленно спросила его, надолго ли он едет в Москву, и пожелала ему там веселиться на том основании, что молодым людям в столице всегда бывает веселее, чем в маленьком уездном городке; о невесте она не сказала ни полслова. Катерина Петровна не приняла Шамилова. Веселость жениха была замечена всем обществом. «Помилуйте, он уезжает с таким удовольствием, как будто бы его из тюрьмы выпустили, а невеста, говорят, умирает и страдает... глупая, глупая! впрочем, ей поделом: наказывается за свою гордость; теперь лучше узнает себе цену», — говорили многие.

Алексей Сергеич, услыхав об отъезде Шамилова, обрадовался.

— Ну, слава богу, как гора с плеч сваливает, — сказал он Авдотье Егоровне.

— Ну что же, душа моя, после будет?

— Я ничего не знаю и знать не хочу; по крайней мере шляться ко мне в дом не будет.

В субботу, назначенную для отъезда, Шамилов часов в десять утра явился к невесте совсем одетым по-дорожному. Вера уже давно встала.

Он прошел, по обыкновению, в ее комнату.

— Ты уж совсем? — спросила она сухо.

— Нет, я так оделся; там еще собираются, — отвечал он, не глядя на невесту.

Жаль ли ему было ее, или совестно, я не знаю, но только его, кажется, очень тяготила предстоящая сцена разлуки.

— Встали ваши? — спросил он.

— Я думаю.

— Как бы мне с ними проститься?

— Мы выйдем в гостиную.

— Если ты слаба, так зачем тебе выходить в гостиную! — я могу сходить к ним один.

— Они сами придут сюда.

— В таком случае позволь войти и Карелину; он приехал проводить меня.

— Зачем же это — посторонний человек!

— Нельзя же было отказать, когда он сам попросился.

— Нет, я не хочу, чтобы он сюда входил; я выйду в гостиную.

— Но ты слаба.

— Ничего.

Вошла Авдотья Егоровна.

— Вы совсем? — сказала она Шамилову.

— Почти.

— Ваши лошади приехали.

— Как скоро! я им велел часа через два.

Вера посмотрела на жениха.

— Вы позавтракайте. Я велела приготовить. Сейчас подадут, — проговорила Авдотья Егоровна.

— Велите, ma tante, подать в гостиную; мы выйдем, — сказала Вера.

— Там Карелин сидит у Алексея Сергеича, — заметила тетка.

— Он приехал меня проводить, — подхватил Шамилов.

Авдотья Егоровна ушла.

— У меня к тебе одна просьба, Вера, — начал Шамилов, — проводи меня равнодушно и спокойно; иначе я утрачу небольшой остаток моей решительности.

— Ты видишь, я спокойна.

— Но ты это только говоришь, а чувствуешь другое.

— Чувствовать не в моей воле.

— Все в нашей воле, — надейся на бога.

— Я на одного его и надеюсь.

— В таком случае сейчас же извольте развеселиться, дайте мне вашу ручку и поцелуйте меня: вообразите, что я еду в Москву на две недели — делать приданое, — сказал Шамилов, взяв невесту за руку и целуя ее. — Пойдем, однако, в гостиную, в настоящую минуту нам тяжело оставаться вдвоем, — прибавил он.

Вера повиновалась; слабым шагом она вышла в гостиную, в которой сидели Авдотья Егоровна, Алексей Сергеич и Карелин, и, с большим усилием дойдя до дивана, села. Шамилов поместился около нее.

— Вы едете на перекладных или на почтовых? — спросил Алексей Сергеич.

— Сам не знаю: велел себе привести извозчика, но какой он — вольный или почтовый, не справлялся.

— Покушайте чего-нибудь, — сказала Авдотья Егоровна Шамилову.

Улан сидел молча и кусал усы.

— Аппетиту нет, — отвечал Петр Александрыч. — Но, впрочем, чтобы не изменить русскому обычаю... Карелин, хотите вина?

— Наливайте, — отвечал тот.

Шамилов налил себе и ему по рюмке.

— А вам угодно? — отнесся он к Алексею Сергеичу.

— Нет, мне еще рано, — отвечал тот.

Шамилов, выпив вина, съел кусок сыру и встал.

— Пора, — проговорил он.

Алексей Сергеич и улан тоже поднялись с своих мест, но Авдотья Егоровна просила всех, как водится, присесть, — и все сели, потом встали, помолились, и началось прощанье. Шамилов первоначально поцеловал с некоторого рода чувством руку тетки, и она его поцеловала в голову, тоже с чувством. Алексею Сергеичу он только пожал руки, а с Карелиным поцеловался и взглянул при этом случае на Веру. С нею Петр Александрыч очень торопился проститься. Глаза у Веры были сухи; но зато обливалась горькими слезами Авдотья Егоровна.

— Поезжайте скорее! — проговорила она.

Шамилов как-то неловко еще раз всем поклонился и вышел.

— Она меня не любит совсем, это, впрочем, и лучше! — проговорил он, садясь в тарантас.

IV

В то время как у Ухмыревых следовали неприятность за неприятностью, в доме Моросенки с утра до поздней ночи раздавались пение, смехи, происходили танцы и различные игры. Сонечка вместе с женихом разучили «Ты коса моя, коса...» — и пели эту песню по несколько раз в день; смеялись они тоже беспрестанно, так что маменька начала замечать молодым людям: «Что это вы смеетесь, Сонечка, точно дети?» Вечера Анна Михайловна начала повторять в неделю не один, а три раза, и успела составить танцы, наняв для этого, за небольшую цену, жида, прибывшего в город с золотыми вещами и умевшего вместе с тем довольно искусно играть на цимбалах.

Она переманила на свои вечера самых постоянных посетителей дома Ухмыревых, у которых стали гораздо реже собираться, так как, по их дурным финансовым обстоятельствам, боялись их стеснить, хотя о своих обстоятельствах ни Алексей Сергеич, ни Авдотья Егоровна никому не давали заметить, всегда были очень рады, когда кто-нибудь к ним приезжал, и тотчас же устраивали партию. Но об этом всюду разглашали Катерина Петровна и Анна Михайловна; последняя, перед целым обществом, говорила: «Я не езжу к нашим несчастным аристократам не столько по неприятностям, сколько потому, что мне видеть их жалко: племянницу они погубили, сами разорились, люди их каждое утро в ноги кланяются лавочникам, чтобы на полтинник в долг поверили». Катерина Петровна подтверждала это и всем, по секрету, рассказывала, что Авдотья Егоровна на днях заложила свои брильянты. По случаю смерти князя в обществе была общая радость: во-первых, ревизия прекратилась, а во-вторых, у этих гордецов Ухмыревых много спеси посбавилось.

Степочка, несмотря на то что очень любезничал с невестой и был, повидимому, весел, кажется, не совсем еще освободился от своей прежней страсти. Всякий раз, когда будущая теща или кто-нибудь из гостей начинали говорить о Вере Павловне что-нибудь дурное, — а это случалось каждый день, и даже по нескольку раз, — он тотчас же уходил в другую комнату. В одно утро — это было на другой день после проводов тела князя — доктор приехал к Анне Михайловне и сказал, что у Веры Павловны воспаление в груди и что если ей не будет лучше сегодня, то он опасается за ее жизнь. Степан Гарасимыч очень внимательно прислушивался к этому разговору и, не дождавшись обеда, ушел домой, где и пролежал около двух часов на постели и все что-то сам с собою потихоньку разговаривал; потом велел заложить лошадь и несколько раз проехал мимо дома Алексея Сергеича и на этот раз не принимал никакой особенной осанки, но только смотрел в окна. Возвратясь домой, он принялся немилосердно курить, забыв свою расчетливость, потому что не только набивал трубку без всякой осторожности, но даже рассыпал табак по окну и по полу. Пришла зачем-то в комнату Аксинья и, взяв, что ей было нужно, хотела уйти, но барин остановил ее.

— Аксинья, сходи-ка к Алексею Сергеичу, — сказал он.

— Батюшка, я там николи не бывала!

— Ничего, сходи.

— Не знаю; нет-с, я больно не смела! А вам что нужно?

— Так, ничего... там прежняя невеста моя очень больна, говорят, умирает

— Сохрани ее господи! барышня молодая... А вам, батюшка, все еще, видно, ее жалко.

— Да... ты сходи и узнай, лучше ли ей.

— Нет, Степан Гарасимыч, ваша воля, я не посмею, Кузьме сталее сходить: он с их кучером большую дружбу имеет; тот еще вчера заходил и говорил, как у нас какая лошадь занеможет, никого, кроме тебя, Кузьмушка, не возьму, — так и господам доложил.

— Ну что Кузьма!

— Отчего же, сходит, узнает: язык-то есть.

— Нет, не хочу.

— Как угодно-с; а мне где дуре бабе в этакие дома ходить? Я вот, что здесь ни живу, на базаре не бывала.

Поехав вечером к невесте, Степан Гарасимыч опять проехал мимо дома Алексея Сергеича.

На первой неделе поста должна была приехать Аграфена Кондратьевна прямо к Анне Михайловне, которая об этом будущую свекровь покорнейше просила, так как считала себя не вправе допустить почтенную старушку остановиться в квартире холостого сына, которого она бы тоже давно перетащила к себе, если бы не боялась городских толков в отношении большого сближения жениха с невестой. Аграфена Кондратьевна изъявила письменно на приглашение будущей тещи полное согласие и вместе с тем просила, чтобы лошади и люди тоже были при ней, потому что на квартире Степочки будто бы вовсе негде было их поместить. На это письмо Анна Михайловна словесно приказала посланному, что очень рада и что, приглашая Аграфену Кондратьевну, полагает ей доставить всякое спокойствие. Вот как хорошо шло между двумя будущими свекровьями, которые обыкновенно на большей части свадеб составляют на первых порах два непримиримые, если не по наружности, то в душе, лагеря.

В день, назначенный для приезда Аграфены Кондратьевны, Степочка еще с раннего утра явился к невесте.

Как он, так и все Моросенки поджидали старуху довольно нетерпеливо и не совсем спокойно; еще с девятого часа они уже не отходили от окна. Степан Гарасимыч увидел маменьку первый.

— Едет-с! — сказал он несколько робким голосом.

— Сонечка, самовар скорее! старушка, я думаю, пе-
резябла с дороги, — воскликнула Анна Михайловна.

Экипаж, или, лучше сказать, большая кибитка, имею-
щая некоторое сходство с крытыми санями, везома́я трой-
кою, гусем, огромными, но поджаристыми лошадьми,
медленно и печально приближалась по дороге к дому
Моросенки, стоявшему на самом въезде в город. Перед
воротами лошади замялись: передняя из них, вероятно
соблазнясь случайно ехавшим впереди возом сена, никак
не хотела заворотить на двор: она то мялась на одном
месте, то сворачивала в сумет. Из кибитки слышалось
несколько сильных бранных слов, относившихся к куче-
ру, который, наконец, кое-как попал в ворота и остано-
вился у крыльца, где дожидался, в почтительном поло-
жении, Степан Гарасимыч. Кучер с помощью молодой и
краснощекой в понизовой шубенке горничной, выскочив-
шей тотчас же из саней, с большим трудом выташил из
оных небольшого роста приземистую старуху, совсем
закутанную в салоп, пуховые платки, валенки, шерстяные
перчатки и так далее. Степочка торопливо поцеловал
руку у матери.

— Веди... куда идти?.. Олимпиадка, дай же руку!..
Эк их угораздило в две версты лестницу выстроить! — го-
ворила старуха, медленно поднимаясь по леснице и опи-
раясь на руку горничной и сына.

И затем, в лакейской, началось раздевание, которое
продолжалось по крайней мере четверть часа. Когда Агра-
фена Кондратьевна сняла с себя дорожные принадлеж-
ности, то осталась в ваточном холстинковом капоте,
в какой-то плисовой шапочке на голове и с бисерным
шнурком на шее, который поддерживал огромные часы,
весьма заметно обозначившиеся в особо пришитом на
груди кармашке. Анна Михайловна, давно уже поджи-
давшая, с мужем и дочерью, в зале гостью, при появле-
нии ее сделала вид, как будто бы только узнала о ее при-
езде, и быстро подошла к ней.

— Наконец-то мы вас дождалась! — начала она,
взяв Аграфену Кондратьевну за обе руки и целуясь

с ней. — Это моя Сонечка: ее бы вы, верно, не узнали. А это мой муж: с ним, кажется, знакомы, — говорила она, указывая по принадлежности.

— Здравствуйте-с, — отвечала Аграфена Кондратьевна, целуя Анну Михайловну и Сонечку. — Мое почтение-с, — прибавила она самому Моросенко, который ей молча поклонился, — извините, что приехала не парадно, а по-деревенски.

— Нам грех с вами, Аграфена Кондратьевна, наблюдать парады, — возразила хозяйка, — мы люди не нынешнего света — живем по старине... Прошу в гостиную... Готов ли чай, Сонечка?

— Сейчас, маменька, — отвечала та и убежала.

Анна Михайловна ввела гостью в гостиную и усадила на диван.

— Не прикажете ли вам скамеечку под больную ногу? вам будет покойнее, — говорила она, подвигая к ней собственноручно скамейку.

— Ах, прошу вас, не беспокойтесь! Премного вам благодарна, — говорила Аграфена Кондратьевна, заметно довольная этою почтительностью.

— Как ваше здоровье, маменька? — спросил Степочка.

— Все то же; а ты здоров ли?

— Здоров-с.

Подали чай с обильным приложением булок, сухарей и кренделей. Аграфена Кондратьевна начала пить и есть с большим аппетитом: с первой чашкой она съела несколько булок, а с другой — целый крендель и так далее.

— Прекрасное-с печенье, бесподобное!

— Домашнее: здесь булочки очень нехороши, — отвечала Анна Михайловна.

— Булки отличные в Петербурге, — заметил Степочка.

— Что про твой Петербург и говорить! — возразила Аграфена Кондратьевна, — а по-моему, лучше деревни ничего нет: все свое.

— Конечно, я с вами согласна, Аграфена Кондратьевна, — сказала Анна Михайловна, — свое и маленькое, но лучше чужого большого.

— Прикажете еще чаю? — спросила Сонечка, принимая от Аграфены Кондратьевны чашку и передавая ее человеку.

— Не будет ли уж? я и то три выпила.

— Выкушайте еще, — просила Анна Михайловна.

— Пожалуй, — только вприкуску; я небольшая до чаю любительница... Вот он у меня так охотник.

— Ах, Степан Гарасимыч, как же вам не совестно не спросить себе чаю! — сказала Анна Михайловна. — Сонечка, как же ты забыла жениха?

— Хотите? — спросила Сонечка.

— Прошу вас, — отвечал жених.

Сонечка пошла, налила и сама принесла обе чашки, из коих одну подала Аграфене Кондратьевне, а другую — жениху.

— Позвольте у вас, за ваше беспокойство, поцаловать ручку, — сказал тот и поцеловал ручку.

— Каковы у вас нынче хлеба? — отнесся, наконец, сам Моросенко, упорно молчавший до того времени.

— Какие-с хлеба! нынче о хлебах говорить нечего, — только что кормимся! — отвечала печально Аграфена Кондратьевна.

— Стало быть, нехороши? — спросил Иван Андреич.

— Соломой — туда и сюда; умолот мал, особенно против прежних годов.

— Вам, я думаю, Аграфена Кондратьевна, нечего об этом беспокоиться: у вас от старинки еще анбары полны, — сказала Анна Михайловна, желавшая, конечно, польстить этим старой хозяйке; но та взглянула на нее сердито и спросила:

— А вы почему знаете-с?

Анна Михайловна, никак не ожидавшая подобного вопроса, покраснела.

— Конечно, я сама не знаю, но об отличном вашем хозяйстве общая молва, — отвечала она.

— Нет, сударыня, пустяки эта молва: по болезни моей я давно запустила хозяйство, и, по нынешним временам, у меня зерна лишнего в анбарах нет... В народе мало ли что болтают! — проговорила Аграфена Кондратьевна.

Сонечка, покончив хлопоты с чаем, села рядом с будущей свекровью, желая с ней поговорить и приласкаться, но та, или спроста, или с умыслом, как будто бы не заметила этого. Пробыло двенадцать часов. Аграфена Кондратьевна начала зевать.

— Не прикажете ли на стол накрывать? Вам, после дороги, отдохнуть надобно, — сказала Анна Михайловна.

— Да, пора, — отвечала Аграфена Кондратьевна и за столом обнаружила не только значительный аппетит,

но некоторую даже жадность, в особенности к сахару и варенью и вообще к сладким блюдам; после обеда, от полноты желудка, по преклонным своим летам, она едва могла дышать. Для отдохновения ее была заранее приготовлена особая комната, в которую она тотчас отправилась, улеглась и велела своей краснощекой Олимпиаде гладить себе ноги, а через несколько минут заснула, среди безмолвной тишины, потому что Анна Михайловна строго приказала людям ходить на цыпочках, из гостей никого не принимать, и сама со всей своей семьей уселась в гостиной.

После трехчасового отдохновения Аграфена Кондратьевна, наконец, проснулась и прямо вышла в гостиную с лицом измятым и сердитым. Большая часть людей, любящих, плотно пообедав, заснуть, просыпаются обыкновенно сердитыми. В этом случае причина чисто физическая. Старуха уселась на диване и, не обращая ни на кого внимания, громко крикнула: «Малый!» — и когда малый явился, то велела подать себе квасу, и квасу непременно холодного. Удовлетворив жажду, она обратилась к сыну.

— Поди-ка съезди в город: надобно для деревни запасов купить; а то тут будет распутица — и не предерешься из наших мест.

— Чего же-с? — спросил Степочка.

— Да чего! — отвечала Аграфена Кондратьевна. — Обыкновенно чего! купи ты мне пуд сухих судаков... больше осьми копеек за фунт не давай... а потом спросишь, есть ли лов на щуки... Как нынче ловятся щуки? — отнеслась она к хозяйке.

— Не знаю, — отвечала та.

— Должно быть, есть, — вмешался господин Мсрсенко.

— Ты почему знаешь? Мы очень редко едим эту рыбу, — перебила его Анна Михайловна.

— Если есть, — продолжала Аграфена Кондратьевна к сыну, — ты купи полпуда... больше полтинника не давай; а если будут дорожиться, так и не торгуй — прах их поberi! Соли еще надобно для людей взять: сколько у меня на эту соль выходит, счету не могу свести! Возьми два пуда разом и скажи, чтобы уступили: маменька, мол, скажи, берет у вас не по фунтикам.

— А деньги пожалуете? — спросил Степан Гарасимыч.

— Я здесь сама разделаюсь... что о деньгах беспокоишься! твоих не захвачу, — возразила Аграфена Кондратьевна.

Степан Гарасимыч ушел. Хотя Анна Михайловна и прежде еще знала, что Аграфена Кондратьевна скупа и не образована, но при всем том решительно не полагала, что она при первом свидании не сумеет себя вести поприличнее. Однако, затаив неприятное чувство, она решилась снова приласкаться к ней.

— Мне было всего приятнее видеть, как почтителен к вам и как любит вас Степан Гарасимыч, — сказала она.

— А еще как же бы-с! я ему не чужая... Я его с малых лет не баловала, да и теперь большой воли не даю: он уж давно пристаёт ко мне, отделите да отделите, маменька. Подождет еще! знаем мы, каковы отделенные сынки.

Анна Михайловна взглянула на мужа и на дочь.

— Степан Гарасимыч еще не отделен вами? — спросила она.

— Нет-с. Словесно дала ему тридцать душ.

— Только тридцать душ?

— А сколько же? проживет покуда и этим! Я сама вышла за покойника: у него десять да у меня тридцать — только и было.

— Нынешнее время, Аграфена Кондратьевна, по прежнему мерять нельзя, — возразила Анна Михайловна, — нынче требований больше, нынче молодые люди по необходимости должны бывают издерживать лишнее, потому что так принято в свете.

— Я Степочку и не обвиняю: он у меня благодаря бога не мотоват, а насчет хозяйства и бережливости, так и очень им довольна: примерный, по его летам. Теперь вот мы с вами-с сходимся по-родственному: я вам наперед говорю, чем вы там вашу дочь ни наградите, он ничего из этого не истратит, а еще сбережет и прибавит.

Анна Михайловна закусила губы: последние слова Аграфены Кондратьевны превышали все границы деликатности, и, будучи сама от природы довольно раздражительного характера, она едва удержалась от прямой дерзости. Надобно сказать, что свою Сонечку она считала, по красоте и по другим достоинствам, бесприданницею, тем более в отношении Степочки; но на поверку выходило это не совсем так.

— Если бы я знала Степана Гарасимыча с дурной стороны, — сказала она, — то, конечно бы, не решилась выдать за него своей дочери; и меня более в этом случае беспокоит то, будет ли он любить ее, и будет ли она нравиться вам.

— Я тут себя выгораживаю-с: ему любя, а мне лучше и не надобно. Когда он сказал мне о своем намерении насчет вашей дочери, я прямо сказала, что, по-моему, для тебя лучше не надобно: семейство хорошее, состоянием, вероятно, не обидят; у тебя теперь тридцать душ; владей ими, как и прежде владел; а умру, так и все тебе останется: на тот свет ничего с собой не возьму.

— Если вы уж начали говорить, Аграфена Кондратьевна, так прямо, — сказала Анна Михайловна, начавшая терять окончательно терпение, — то я тоже, как мать вашей будущей невестки, скажу вам: тридцатью душами нечем жить молодым людям. Степан Гарасимыч ваш не служит; да и какая же у него может быть служба по его чину, которого он, говорят, совсем никакого не имеет!

— Отчего же мало тридцати душ?.. А ваше приданое-с?

— Мое приданое будет маленькое.

— А сколько-с?

— Я, право, затрудняюсь отвечать на ваш вопрос, которого никак не ожидала и который для меня очень щекотлив и обиден.

— Ах, сударыня, я вам ничего особенного не сказала! обижаться вам тут нечем.

— Я и не обижаюсь.

— Так в чем же мы спорим! Я сказала и говорю, что, покуда жива, более тридцати душ сыну не дам; а вы вашей дочери покуда еще ничего не назначили.

— О, в таком случае, если уж вам угодно так пунктуально знать, чего между благородными не принято, то извольте: я могу дочери дать тысячу пятьсот рублей серебром, и то для меня очень трудно: я в этом случае поступаю не так, как другие матери, которые от миллионов дают гроши; я отдаю последнее, обрываю себя и других детей моих... Кажется, мы теперь можем понять друг друга.

— Ну, не много же вы обещаете! Я думала, больше. Неужели же к этому приданого никакого не дадите? Хоть платьев-то понашейте.

— Я реестра платьям моей дочери не составляла, — извините меня: она всегда была и будет одета у меня прилично.

— Ваше дело-с, — не знаю. Если Степочка доволен вашей наградой, святой час — дай бог ему жить да богатеть. Он, я думаю, переговаривал с вами об этом: я ему еще в деревне наказывала, чтобы узнал поаккуратнее.

— Нет, мы с Степаном Гарасимычем до сегодняшнего дня держали себя так благородно, что совестились даже о подобных вещах говорить. Я до этого нашего разговора даже не знала, какое у него есть состояние. Я своей дочери, Аграфена Кондратьевна, желаю счастья, а не богатства, но вы открываете мне глаза, и я вижу, что ошибалась... У Сонечки будут женихи: ей еще всего девятнадцать лет, а вашему Степану Гарасимычу здесь все очень хорошо знают цену.

— Вам этак со мной о Степане Гарасимыче не следует говорить: вы сами его сейчас хвалили, сами его ласкали, принимали да завлекали.

— Я завлекала?! Я?! — спросила Анна Михайловна, позеленев от досады.

— А кто же?

— Аграфена Кондратьевна, вы хоть и в моем доме, но я прошу вас, удержитесь.

— Мне удерживаться нечего: я женщина простая, не модная и говорю правду. Чтобы Степочка женился, я желаю; сколько назначила ему отдать, того не откажу. Дочку вашу награждайте, как хотите, — это его дело... Я ему советовала быть осмотрительнее, но он этого не сделал, — пеняй на себя; и если он и ваша дочь будут ко мне почтительны, все им оставлю, а нет, так и того не увидят.

— Одним словом, вы о благополучии сына не думаете, но я о дочери моей думаю, — и потому, хоть мне и жаль Степана Гарасимыча, но опасаясь принять его в свое семейство.

— Зачем же вы меня, старуху, сюда выписывали? Этими делами не шутят! Степочку вам жалеть нечего: вы его не погубите вашим отказом; захочет, так найдет невесту и лучше вашей дочери, потому что у него есть верное состояние, которого у вас нет.

— А состояние, да... конечно; но есть пословица: иным не в помощь и богатство; при вашем огромном

состоянии, вы же ко мне приехали, а не я к вам: вам даже некуда было принять меня с дочерью.

— Ах, государыня моя, чем укорила! не объела вас в два часа. Не беспокойтесь: уеду, — возразила Аграфена Кондратьевна. — Эй, велите закладывать моих лошадей! — крикнула она. — Эй!.. — повторила еще.

Но никто не являлся.

— Иван Андреич, прикажи закладывать лошадей Аграфены Кондратьевны, — сказала Анна Михайловна.

Иван Андреич ушел и распорядился по приказанию супруги.

— Грех вам, сударыня, так поступать со мной! я постарше вас, — начала Аграфена Кондратьевна, — вас все осудят!

— За что же меня осудят?

— За обман ваш. В деревнях между мужиками этого не делается. Чем вы очень важничаете? Я сама дворянка: вам из меня силой не выжать ничего. Вы на состояние мое метили, так вот вам!!! — заключила старуха и показала Анне Михайловне кукиш.

— Сонечка, уйди, — сказала та дочери. — Вы — мужичка; убирайтесь вон из моего дома, — прибавила она и ушла вслед за дочерью.

Оставшись в гостинной одна, Аграфена Кондратьевна продолжала браниться и употребляла в отношении Анны Михайловны и всего ее семейства такие фразы, которые вовсе неприлично бы было говорить даме, и тем более про даму; но, наконец, к большому удовольствию хозяев, ушедших от нее в самую отдаленную комнату, уехала. Степан Гарасимыч, ничего подобного не ожидавший, исполнив аккуратно возложенные на него поручения и даже купив на свои собственные три четвертака в подарок для маменьки полпуда щук, приехал было к невесте, но его не приняли, уведомив через человека, что маменька уехала к нему на квартиру и требует его к себе.

Между тем Аграфена Кондратьевна продолжала шуметь и на квартире сына: она кричала на Ажсинью за то, что будто бы у той много выходит запасу, хотя в душе и была убеждена в противном. Она издавна имела свойственное многим людям обыкновение, рассердившись на одного, нападать и бранить всех, кто ей ни попадется.

— Я тебя не затем сюда послала, чтобы ты в сорок лет плутовать научилась! Вы только здесь с вашим баарином свадьбы думали затевать да меня обирать.

— Матушка Аграфена Кондратьевна, провалиться мне на этом месте, ни в чем я неповинна!

— Молчать! — воскликнула барыня.

Вошел Степочка.

— А, детище мое ненаглядное, пожаловал! Откудова это? заезжал ли к тещеньке-то своей?.. Что ты, Степан, задумал о своей голове, а? Долго ли ты будешь меня мучить?

— Маменька, что такое?

— Нет, ты мне скажи, долго ли ты надо мной будешь тешиться? а мне с тобой делать нечего. Я тебя и учила и лаской хотела образовать — ничто не помогает!

— Что такое сделалось? чем я виноват?

— Ничего не сделалось! хорошо! меня только что взашей не вытолкали! Ты бы им с первого разу должен был внушить, что с маменькой игрушки играть нечего, а надо почитать да уважать. А вы только вместе обобрать меня собирались. Я знаю, что ты готов меня на первую юбку променять: на хорошее-то ума нет, а на это хватит...

— Я ничего, маменька, против вас не сделал... Бог с вами! Мне когда что ни прикажите, я все делаю!.. Запасу купил-с!

— Да, делаешь ты... купил! знаю я, как ты покупаешь. Вели сбираться: я сейчас еду... Передай там кучеру все покупки.

— Разве вы не ночуете? Темно будет ехать: пожалуй, опрокинетесь.

— Благодарю за беспокойство... Какой нежный стал!.. Спасибо, хорошо приняли да употчевали.

Степочка ушел и передал весь запас, по приказанию матери, кучеру, а о деньгах уж не смел и заикнуться. Возвратясь в комнату, он застал ее сидящею на диване и как будто бы несколько поутихнувшею.

— За что вы, маменька, на меня изволите сердиться? — сказал он, подходя к ней и целуя ее руку. — Я ничего не знаю, что у вас там было-с.

— Сбегай узнай, коли очень любопытен!

— Что мне бегать! Я, пожалуй, совсем перестану ходить туда, если вам угодно.

— Мне ничего от тебя не угодно; как хочешь, так и живи: дурака не научишь на каждом шагу! — проговорила Аграфена Кондратьевна и начала собираться в дорогу.

Напрасно Степан Гарасимыч прислуживал ей, подавая то ту, то другую вещь: старуха продолжала сердиться.

— Когда мне прикажете приезжать домой-с? — спросил он.

— А хоть совсем не езд, — мне все равно!.. Ну, Олимпиада, пойдем, — проговорила Аграфена Кондратьевна и, почти не простясь с сыном, вышла, уселась в сани, перекрестилась и велела ехать.

Степочка, Аксинья и Кузьма, провожавшие ее, стояли некоторое время на улице в раздумье.

— Не знаешь ли, Аксинья, за что маменька там рассердилась? — спросил Степочка.

— Бог их ведает, не знаю. Олимпиада только сказывала, что они побранились с той барыней: надо полагать, в деньгах у них что-нибудь вышло.

— Ну, так и есть! вот тебе и женитьба... Ах, ты, жизнь моя! — проговорил Степан Гарасимыч, вздохнув, и ушел в комнату.

Полученное им вскоре от Анны Михайловны письмо разрешило все его сомнения.

«Милостивый государь,
Степан Гарасимыч!

Возвращаю вам сделанные вами моей дочери подарки и беру назад мое слово, которое дала я вам, по своей неосмотрительности, насчет принятия вас в мое семейство. Сонечка моя не может иметь свекровью такую женщину: мать ваша мне и всему моему семейству наговорила столько дерзостей, что мы еще до сих пор не можем опомниться. Очень сожалею, что была так глупа и позволила вам себя дурачить. Сколько я понимаю, вам приличнее сделать партию с какой-нибудь мещанкой, а девушка благородного звания за вас, скажу вам прямо, не пойдет».

Далее Степан Гарасимыч не в состоянии был читать письмо и бросил. Всякий, поставив себя в положение молодого человека, согласится, что оно было очень

неприятно: во-первых, ему было очень совестно перед знакомыми, которые, вероятно, над ним будут смеяться, тем более что приехал в город улан, которого он, после всех его проделок, боялся пуще огня; во-вторых, маменька очень рассердилась; и в-третьих, потеря невесты. Впрочем, в отношении последнего он как-то мало жалел, а это и могло служить доказательством, что собственно любви в нем к Сонечке не было, но женился бы он на ней так, по стечению обстоятельств и потому, что его завлекали. Сообразив все хорошенько, насколько стало у него уменья соображать, он решился на другой же день уехать из города совсем, пожить некоторое время с маменькою, помириться с ней, а на весну поселиться в своей усадьбе. Но при этом решении он хотел еще раз пройти мимо Алексея Сергеича — посмотреть на тот дом, где жила она, жестокая. Начало смеркаться. Молодой человек прошел мимо заветного жилища раз — никого не видал, другой — тоже никого не видал и хотел было уж пройти третий, но его нагнал ехавший в санях Моросенки Василий Николаич Шмаков, который был в городе и возвращался от Анны Михайловны, присылавшей за ним, по случаю вышедших семейных неприятностей, для совещания.

— Степан Гарасимыч! — крикнул он, наезжая на молодого человека.

Тот подошел.

— Что это у вас разошлась женитьба?

— Разошлась-с.

— Слышал. Старухи перебранились... Что вы тут ходите — поедете ко мне.

— Очень приятно, — сказал Степан Гарасимыч и сел в сани.

Шмаков, несмотря на то, что имел дочь, жил совершенно на холостую ногу и был, как говорится, человек совсем походный. Приезжая в город, он обыкновенно останавливался в гостинице и привозил с собою все, что нужно было для его потребностей, то есть: шкатулку, в которой хранились карты и деньги, погребчик с водкой и чайным прибором, пару дорожных пистолетов, кисет с табаком, ящик с сигарами — и больше ничего. Когда же он брал с собою дочь, то обыкновенно отправлял ее к Анне Михайловне, с которою издавна был очень дру-

жен. Привезя в свой номер Степана Гарасимыча, Шмаков тотчас же предложил ему курить.

— В чем старухи разбранились? — спросил он.

— Не знаю-с: меня не было.

— А вам хочется жениться?

— Желал бы.

— Да и пора. Отчего это только вам все неудачи?

— Такой, стало быть, уж я несчастный человек.

— Ничего — все пройдет. Женитесь на моей дочери... хотите? сейчас отдам: я слажу со старухой, не разбруюсь. Что же вы сконфузились? Не нравится, что ли?

— Нет, нравится; да как же-с?

— Так же, как обыкновенно женятся. Растерялся, молодой человек? ничего, подумайте: мы подождем.

Степан Гарасимыч действительно растерялся: Шмаков дал ему совершенно новую мысль. Ободренный вниманием хозяина, он признался откровенно, как рассердилась на него маменька и как обидела его своим письмом Анна Михайловна. Василий Николаич советовал ему на все плюнуть. Затем разговор зашел об имени Аграфены Кондратьевны. Об этом предмете Степочка знал малейшие подробности: он перечислил все деревни, рассказал, сколько в каждой из них тягол, по сколько платят оброку, и даже высказал свое предположение насчет того, что у маменьки, должно быть, кроме того, тысяч сто денег.

— А умеете ли вы играть в карты? — спросил вдруг Шмаков.

— Нет-с, не умею, — отвечал Сальников.

— Давайте, я вас поучу в самую простую — в палки.

— В палки?! — спросил Сальников с удивлением.

— Да, в палки, только не в такие, которыми по бокам колотят... игра так называется. Смотрите, — проговорил Василий Николаич и начал показывать, как играют в названную игру, которую Степан Гарасимыч, при всей своей неопытности, скоро понял.

— Ну-с, мы играем с вами по три копейки серебром, — сказал хозяин и начал играть.

В четыре удара он проиграл Степочке золотой и тотчас же его отдал; в следующие два удара — еще золотой и отдал; возвысил цену и уже в один удар проиграл два червонца и расплатился. Странное и удивительное впечатление произвело на молодого человека это

случайное приобретение четырех золотых. Сначала он не верил, что это деньги его, но потом убедился в этом и, возгорев желанием выиграть еще, сам предложил Шмакову играть, который согласился и назначил фишку по десяти копеек серебром. Счастье повернуло на его сторону: в несколько ударов он выиграл до шестидесяти целковых и, спросив Степана Гарасимыча, хочет ли он еще играть, и получив ответ, что тот хочет, записал эти деньги на сторонке и продолжал. После нескольких часов игры Степочка был уже в проигрыше триста рублей серебром.

— Будет, — отвечал Шмаков, — вы и то много проиграли.

— А сколько? — спросил тот.

— Триста серебром, — отвечал хладнокровно Шмаков.

У Сальникова вытянулось лицо.

— Теперь рассчитаетесь или после? — спросил Василий Николаич.

— Чего-с? — отозвался Степочка, бессмысленно глядя на хозяина.

— Я спрашиваю, есть ли с вами деньги? Если есть, хорошо, а нет, так расписку дайте: сумма пустяшная, сочтемся.

— Я вам, стало быть, проиграл тысячу рублей?

— То есть как тысячу? На ассигнации еще с лишком, а на серебро всего триста.

— У меня теперь нет денег-с.

— Ну, нет, так и нет: на нет и суда нет. После заплатите, — дайте только расписку.

С Степана Гарасимыча в три ручья капал пот; он вдруг встал и пошел вон из комнаты; Шмаков посмотрел ему вслед. Выйдя на свежий воздух, молодой человек постоял несколько времени в раздумье, — потом вдруг бросился бежать без шапки, в одном только сюртуке, в котором сидел, к себе на квартиру, где, собравшись на скорую руку, в городских санях и в одну лошадь уехал в свою усадьбу. Чтобы оправдать хоть сколько-нибудь Степочку, я должен сказать, что он во всю свою жизнь даже и в воображении не представлял себе возможности проиграть, не шутя, тысячу рублей, и мне думается, что если б он сам выиграл такую огромную сумму, то не стал бы настоятельно требовать уплаты ее.

Разорение Ухмыревых не подлежало никакому сомнению. Городской их дом, в котором попрежнему было все очень хорошо убрано, продан с аукциона. Все знакомые, услышав об этом, тотчас приехали навестить их, но сделали это не столько из участия, сколько из любопытства. Алексея Сергеича вообще не любили за его гордость. При этих визитах он сам, а также и Авдотья Егоровна надели на себя маску притворного равнодушия и всем говорили, что они давно имели намерение переехать в деревню и рады, что купец согласился взять у них в уплату долга дом, но этому, конечно, никто не верил. Хуже всего поступали с Ухмыревым местные купцы, у которых прежде был ему открыт кредит на сколько угодно. Они почти на дороге остановили его вещи, которые он начал было перевозить в усадьбу, настоятельно требуя уплаты по счетам, и поставили его, наконец, в такое положение, что он отдал им эти вещи, которые они и приняли, но на самых тяжких условиях. Ореховую, московской работы, мебель из гостиной взял на себя торговец красных товаров; в мускательную лавку пошли бронзовые часы и два канделябра; каретник увез к себе обратно, за половинную цену, новые, четвероместные сани. Весельчак доктор поступил с Ухмыревыми в этом случае хуже купцов, тогда как слишком многим был им обязан. Лет десять тому назад он приехал в К. в одном, что называется, фраке. Алексей Сергеич первый пригласил его лечить к себе, назначив ему в год двести рублей серебром, твердил везде о его доброте и бескорыстии и, прямо можно сказать, своим влиянием на общество составил ему практику. Кроме того, они женили его на одной своей знакомой вдове, женщине необразованной, но с очень хорошим состоянием; и когда он поразжился, то с терпением переносили его капризы и лень, которой он день ото дня предавался заметнее и гораздо более думал об одной своей, кажется, довольно здоровой пациентке, чем о всех других больных. В последнее время он приезжал к Ухмыревым обыкновенно после пятого и шестого посла, — и потом, когда дом был продан и когда с Авдотьею Егоровною после этого известия сделалось дурно, окончательно обличил себя:

— У твоей барыни одна болезнь! я не поеду, — сказал он посланному, — меня ждут больные серьезнее ее.

После тысячи неприятностей Алексей Сергеич кое-как уладил свой переезд в деревню; но и тут явилось новое препятствие. Усадьба, в которую он намеревался ехать, за неплатеж в совет, подпала опекунскому управлению. Ухмырев упал духом и лежал целый день в кабинете. Авдотья Егоровна была в отчаянии и плакала навзрыд, так что горничная ее пошла к Вере Павловне, которая едва начала переходить комнату.

— Вера Павловна! выйдите к тетеньке, — сказала она, — хоть немножко успокойте ее.

— Что такое? — спросила Вера с беспокойством.

— Оне очень плачут-с; в усадьбу нам ехать нельзя: опекун определен.

Вера встала и пошла к тетке.

— О чем вы, та tante, плачете? — сказала она, садясь около нее.

— Так, ни о чем, — отвечала та, — обыкновенная моя болезнь.

— Нам, говорят, нельзя ехать в усадьбу: там опекун определен.

— Кажется.

— Где же мы будем жить?

Авдотья Егоровна разрыдалась еще сильнее.

— Ma tante, я хочу вас попросить: возьмите у меня ожерелье, которое мне князь подарил, и продайте его: оно дорого стоит.

Авдотья Егоровна с удивлением посмотрела на племянницу. Надобно сказать, что у ней у самой были еще кой-какие брильянты; но она решительно не имела великодушия расстаться с этими страстно ею любимыми украшениями. А Вера, молоденькая девушка, сама предлагает взять у нее такую прелестную, ценную и единственную вещь, и предлагает так равнодушно, как будто бы старое, изношенное платье.

— Нет, мой друг, это невозможно, — отвечала она, — тебе самой оно будет нужно.

— Нет, та tante, оно мне совершенно не нужно. Я его ни разу не надевала и никогда не надену. Умоляю вас, возьмите! мне, право, оно не нравится; позвольте хоть этими пустяками заплатить вам за все ваши благодеяния.

— Душечка моя! милочка моя! мне совестно, и дядя не согласится.

— Согласится: я упрошу, я сейчас к нему схожу... Он в кабинете?

Авдотья Егоровна более не противоречила и обняла великодушную племянницу, которая прошла в кабинет.

— Вы нездоровы, дядя? — спросила она.

— Да-с, голова болит, — отвечал сухо Ухмырев.

— Я к вам пришла за советом.

— Что такое? — спросил отрывисто Алексей Сергеич.

— Я хочу продать свое ожерелье. Вы не знаете, сколько за него дадут?

— Это зачем?

— Так, мне хочется иметь деньги. Купит ли у меня здесь кто-нибудь его?

— Нашла здесь покупателей! Здесь умеют только на чужой счет обедать; я думаю, обыщи весь город, так ни у кого ста целковых не найдешь в кармане.

— Где ж я могу его продать?

— Не знаю-с.

— Ну вот, дядя, научите, пожалуйста: я, право, хочу иметь деньги.

— Право, не знаю-с. В Ярославле есть ювелир, а здесь никого нет.

— Я вот что хочу, дядя, сделать, — начала Вера, после непродолжительного молчания, — теперь я это ожерелье продам, а деньги вы возьмите у меня на сохраненье. Чем вам занимать у посторонних, так вы лучше возьмите у меня; а вам теперь, я знаю, деньги нужны.

Алексей Сергеич, наконец, понял, к чему племянница вела весь этот разговор. В лице его появились какие-то гримасы, на глазах показались слезы. Во все это время Ухмырев, отчасти расстроенный трудным положением своих дел, отчасти сердившийся на Веру за любовь ее к Шамилову, был очень холоден к ней и в продолжение всей ее тяжкой болезни почти не видал ее. Великодушные Веры, которого он никак не ожидал, пристыдило его.

— Вы хотите мне сделать благодеяние, которого никто в мире для меня не сделает теперь, потому что я глуп и не стою этого. За ваше намерение бог вам заплатит: больше я ничего не могу сказать. Меня стоит наказать... Я оплакиваю только несчастную жену мою и

вас! Вот в каком я теперь положении: так могу ли я от вас что-нибудь принять! У вас это последнее.

— Вы, дядя, несправедливо говорите: вы должны у меня эту безделицу взять. Если вы сами забыли, что делали для меня, то я помню. Что бы было со мной, если бы вы не приняли меня после смерти батюшки? Я должна была бы умереть с голоду; но вы меня приютили, вы заменили мне отца, вы доставили мне все удовольствия. Позвольте же мне считать себя вашей дочерью. Если бы у вас была дочь и у нее бы были лишние вещи, и она попросила бы вас взять и продать их, вы, верно бы, не отказали ей в этом. За что ж вы меня хотите обидеть?

— Нет-с, я недостойн называться вашим отцом: я против вас виноват, много виноват; за вас и за жену мою меня бог наказывает теперь.

— Послушайте, дядя, если вы не возьмете у меня денег, имение ваше продадут: нам негде будет жить. Вы должны спасти ваше состояние и для этого продайте и мое, и тетино, и все, что есть лишнее.

— Нет, Вера Павловна, не то бы я должен делать, старый дурак: я бы должен в карты не играть, дармоедов бы не кормить десять лет на заемные деньги: тогда бы я не обирал моих родных.

— Прошедшего, дядя, не воротишь; возьмите у меня ожерелье, не огорчайте тетушку; вы знаете, как она слаба; она целый день сегодня плачет.

— Для нее извольте; если она только хочет, я согласен.

— Она согласна; только вы возьмите его поскорее у меня и продайте; я сейчас вам пришлю его.

Алексей Сергеич, вместо ответа, поцеловал у племянницы руку.

Успокоить Авдотью Егоровну Вере было очень не трудно: она пришла и сказала ей, что дядя согласен, и добрая тетка по возможности утешилась. Вера не обедала: утомленная утренними подвигами, она ослабела и легла в постель. Дядя и тетка сидели в ее комнате попеременно. О Шамилове она все последнее время ни слова не говорила, не получала от него никакого известия и сама к нему не писала.

Алексей Сергеич сбыл ожерелье; но кому именно, в какую сумму и на каких условиях — не сказал ни жене, ни племяннице, а только написал на имя последней век-

сель в пять тысяч рублей серебром и заставил жену подписаться поручительницей. Вера не хотела было брать, но Ухмырев настоял, говоря, что это необходимо сделать на случай смерти. Опека была снята. По самому последнему пути Ухмыревы переехали, наконец, в деревню. Авдотья Егоровна и Вера были очень удивлены по приезду в усадьбу: они решительно не узнали старого деревянного дома: он был оклеен обоями, в нем была прехорошенькая мебель, драпировка заменила прежние неуклюжие деревянные двери. Алексей Сергеич приготовил им сюрприз. Во все это время он говорил: «Как нам будет жить в наших развалинах? Надобно бы поправить, а не хочется».

— Зачем, топ срег, поправлять! Он довольно тепел, — возражала Авдотья Егоровна.

— Не поправляйте, дядя, — замечала Вера, — я очень люблю старые дома.

— Не стану-с: только не соскучьтесь сами, — отвечал Алексей Сергеич и улыбался.

На деле вышло не то: он его совсем поправил.

— Вот твой, Eudoxie, кабинет; хорош? — спрашивал он жену.

Та качала головой.

— Гостиная немного темна, — продолжал Алексей Сергеич, не глядя на Авдотью Егоровну. — Летом надобно будет переменить рамы: сделаю в три стекла; терпеть не могу этих клеток.

— Зачем, та tante, дядя столько денег издержал на поправку дома? — сказала Вера тетке, оставшись с нею вдвоем.

— Что, ангел мой, с ним делать! Он не может иначе; это его слабость.

Жизнь Ухмыревых в деревне пошла однообразно и спокойно. Алексей Сергеич в первое время начал сильно хозяйничать: ходил по полям, смотрел сам за рабочими и составил план какого-то огромного кирпичного завода, и вычислял, сколько он должен будет давать ему дохода. Выходило, что очень порядочно — тысяч до трех серебром; но оказалось препятствие в том отношении, что во всей даче не могли отыскать достаточного слоя глины. Хозяйство и проекты занимали Ухмырева недолго: он снова сделался скучен и всякий раз сердился, когда надобно было посылать в город за покупками и выдать для

этого денег; а потом начал потихоньку советоваться с приказчиком о том, нельзя ли чего-нибудь продать из хозяйственных вещей, и приказчик, стараясь угодить барину, предложил отдать на сруб лесную дачу по дешевым, конечно, ценам, но больше никто не давал. Барин изъявил согласие и опять успокоился.

На Фоминой к Ухмыревым приехал совершенно нечаянный гость — Степан Гарасимыч, который был им сосед по одной из маменькиных усадеб. Но прежде я должен сказать, что с молодым человеком, после его постыдного бегства из гостиницы, случилась большая перемена. По приезде в свою усадьбу он дня три был в величайшем страхе, беспрестанно ожидая, что явится Шмаков и будет от него требовать трехсот рублей серебром. Василий Николаич, однако, не ехал, но прислала нарочного Аграфена Кондратьевна и требовала, чтобы Степочка, не медля ни минуты, явился к ней.

«Вот тебе и раз, — подумал он, — маменька, верно, узнала, что я в карты проиграл; она без того уж была сердита на меня, а тут, пожалуй, такую штуку сделает, что и своих не узнаешь».

Предположение это оказалось совершенно несправедливо. Аграфена Кондратьевна встретила сына со слезами и с распростертыми объятиями и с первого же раза объявила, что хочет отделить ему все четыреста душ, которые были в той губернии, а сама намеревалась переехать на весну в город, а летом отправиться на богомолье в Киев и в Воронеж. К большому еще удивлению, Степан Гарасимыч заметил, что маменька, которую он не видал всего четыре дня, так похудела, как бы после месячной лихорадки, была какая-то расстроенная и говорила, сама не понимая что. О свадьбе его не упомянула она ни слова; в церковь свою вдруг сделала вклад в пятьсот рублей серебром, чего прежде никогда не бывало, хоть и была всегда довольно богомольна. Со старухой случилось странное происшествие; суета ее с Моросенками ужасно ее расстроила: все-таки она была мать, хоть и грубо, но горячо любившая сына; на дороге с ней сделалась этакая тоска, что она и раскрывалась и пила холодную воду — ничто не помогает; так тошно, хоть руки на себя наложить. Первая пришла ей мысль, не отравили ли ее Моросенки, и это, по ее соображению, было возможно. Степочка у нее один наследник: после

смерти ее имение ни к кому не может перейти, кроме его. Заметив, что она не хочет его отделить, всего лучше было спровадить ее на тот свет. При этом тоска, конечно, еще больше усилилась.

— Батюшки мои, — начала она говорить людям, — везите меня поскорее: смерть моя приходит; дайте мне причаститься и исповедаться.

Кучер, видя, что с барыней плохо, погнал во всю прыть. От воздуха или от чего другого ей начало становиться легче, легче, и когда въехала в усадьбу, то как будто бы начал сон клонить. Она, конечно, тотчас же улеглась, однако заснуть не могла; полежав с четверть часа и вспомнив, что не молилась, она встала, засветила восковую свечку и пошла в залу, где стоял большой образ, но только что ступила ногой в гостиную, через которую надобно было проходить, вдруг идет ей навстречу другая Аграфена Кондратьевна, в таком же капоте, в таких же валенках: сердце у ней замерло, и едва достало силы вскрикнуть, и она тут же упала. Прибежали девки и нашли ее совершенно без чувств. Можете себе представить, что она чувствовала, опомнившись. День еще промаяла кое-как; но с закатом солнца с ней сделался такой страх, что она легла в свою спальню, зажмурилась, положила около себя всех своих девок, а в зале и лакейской велела ночевать двум даже мужикам, и только таким образом могла провести ночь. В отношении Степочки она почувствовала полнейшее раскаяние. Ей представилось, что она этого несчастного ребенка, сама не зная за что, мучит и терзает. Она сейчас же послала за ним и до самого приезда его не пила, не ела и не спала. Все это она рассказала впоследствии, но в то время скрыла от всех.

— Вот, мой друг, — сказала она, отдавая Степочке дарственную на четыреста душ, — живи и хозяйничай, а мне уж ничего не нужно.

И через два дня выехала из своего пепелища, где прожила она почти сорок лет безвыездно, с удивительным равнодушием, как будто бы ей все надоело и ничто уж не занимало. К Степану Гарасимычу была она чрезвычайно нежна.

— Не забывай меня, покуда еще жива, навывайся ко мне, — говорила она, — жить я тебя с собою не зову: со мной тебе делать нечего; присматривай здесь за

хозяйством, женись, если Моросенкиных дочь нравится; я уж им простила, простили бы и они меня.

— Нет, маменька, я не желаю-с, — отвечал Степочка.

Впрочем, ему и желать этого было невозможно, особенно после недавней истории с Шмаковым.

Прощаясь с людьми, старуха всем кланялась в пояс и говорила: «Простите Христа ради меня, грешную: многим я виновата против вас». Степан Гарасимыч, проводив мать в город, тотчас же вступил в управление имением, и, услышав, что Алексей Сергеич переехал в свою деревню, он, для своего пребывания, избрал одну из усадеб, которая от Ухмыревых была всего в пяти верстах, и сделал им визит. Хозяева удивились, сконфузились и не успели еще прийти в себя, как Степан Гарасимыч влетел и расшаркался.

— Мы теперь уж не городские, а деревенские соседи, — говорил он. — Я никак не думал, что буду здесь жить.

— Вы теперь в Тыркине? — спросил Алексей Сергеич.

— Да-с, в Тыркине.

— Оно давно ваше?

— О, нет-с: оно было маменькино, а теперь мое.

— Как же так ваше?

— Маменька мне на бумаге отдала четыреста душ. Она сама не хочет заниматься хозяйством. В городе говорили, что она мне никогда ничего не даст: я только тогда смеялся над этим.

— Кто ж это говорил? вы один сын.

— Конечно, один, но говорили. Я теперь хочу никогда в городах не жить. Деревенское знакомство гораздо приятнее: даже у себя дома можно хозяйством заниматься. Я теперь должен много устроить в этой усадьбе; хотелось бы еще прикупить кое-чего. Она очень выгодная; но мужики в отдалении — работать некому.

— Что ж, вы задельную деревню желали бы купить? — спросил Ухмырев.

— Да-с, задельную.

— А ваша свадьба, Степан Гарасимыч? — спросила Авдотья Егоровна.

Степан Гарасимыч только сплюнул на это.

— Они такой сделали прием маменьке, — отвечал он, пожимая плечами, — что в других благородных домах этого никогда не бывает.

— Стало быть, все уж кончено? — заметил Ухмырев.

— Да-с.

Просидев с полчаса, Степан Гарасимыч не утерпел и спросил о главном предмете, для которого он, кажется, и приехал:

— Вера Павловна все еще больна?

— Не то что больна, но слаба, — отвечала Авдотья Егоровна.

— Может, оне по женихе скучают?

— Я думаю.

— Сегодня она выходила? — спросил Алексей Сергеич жену.

— Выходила. Теперь она чем-то занята: у нее писем много, — отвечала та.

— Когда я провожал в город маменьку, так из знакомых ни у кого не был; но люди сказывали, что свадьба Веры Павловны, как и моя, тоже расстроилась.

Авдотья Егоровна переглянулась с мужем, и оба ничего не отвечали.

— Говорят, Петр Александрыч совсем уж уехал в Петербург и писал своему человеку, чтобы он продал дом и выслал ему деньги, — в столицах деньги нужны.

— Не знаю-с, о доме мы ничего не слыхали, — проговорил Алексей Сергеич.

— А насчет свадьбы, справедливо или нет?

— Как сказать, — это зависит от обстоятельств, — отвечал Ухмырев.

— Иногда хорошо, когда свадьба расстроивается. Приятно жениться на девушке, которая по сердцу; но если нет, так...

— По вашему состоянию вы всегда можете жениться по склонности, — сказала Авдотья Егоровна.

— Состояние еще у меня недавно-с, и очень был бы рад, если бы та девица, которая мне нравится больше всех, пошла бы за меня.

Хозяева хорошо понимали, к чему клонил разговор Степochка. Авдотья Егоровна конфузилась, Алексей Сергеич соображал.

— Молодому человеку надобно иметь терпенье, — проговорил он. — Что вы не курите? хотите?

— Но не беспокою ли я даму?

— Ах, нет, пожалуйста, — отозвалась Авдотья Егоровна.

— Я вам сейчас велю подать, — сказал Ухмырев и ушел.

— Как я рад, что опять возобновил с вами знакомство! я долго не решался к вам ехать.

— Нам очень приятно вас видеть всегда.

— А для меня это счастье.

Алексей Сергеич, велел подать Степochке трубку, пошел мимо комнаты племянницы и заглянул в растворенную дверь. Вера сидела задумавшись.

— Что вы? — спросил он.

— Ничего.

— Там у нас гость.

— Слышала.

— Что, вам не хуже сегодня?

— Нет, ничего.

— Выйдете к обеду?

— Да, непременно.

Алексей Сергеич, возвратясь в гостиную, увел оттуда Степochку в свой кабинет.

— Вы давеча сказали, что желали бы прикупить к усадьбе. Купите у меня деревню?

Степан Гарасимыч несколько затруднился: говоря о желании купить, он хотел только задать перед Ухмыревыми форс, — но, впрочем, спросил:

— Какую это-с?

— Марково. Деревня хорошая: у меня в ней сто душ.

— А какая ваша цена?

— Назначайте сами.

— По-моему, нельзя большой цены дать: по сту рублей серебром за душу.

— Берите: я уступлю за эту цену.

Степан Гарасимыч обрадовался и удивился. Цена была, как говорится, дешевле пареной репы, потому что все мужики были зажиточные и снабженные всеми местными угодьями; упустить этакой случай было грех; но каким образом купить? столько денег у него не было в наличности; но можно было продать хлеба, которого было у него по всем усадьбам несчетное количество.

— Хорошо-с, я посоветуюсь с маменькой, — отвечал он.

— Что же тут советоваться! цена ничтожная.

— Еще надобно денег сколотить.

— Денег вам немного надобно: долг совету вы переведете на себя, заплатите небольшую недоимку, а мне придется отдать не более трех тысяч.

— Налицо, у меня нет столько, а у маменьки просить не смею.

— Не можете ли вы мне по крайней мере хоть задатку дать сколько-нибудь?

— Когда-с?

— Да теперь.

— А от вас я, что же, бумагу, что ли, какую получу?

— Мы напишем домовое условие.

— Не знаю, право, как это... мне никогда не случилось... Как бы это было в городе, я бы там посоветовался с одним человеком: он у маменьки все эти дела делает.

— Неужели же вы сомневаетесь? Если мало для вас условия, я вам дам сохранную записку в вашем задатке: это вернее всего. Я бы это имение никак не стал продавать, если бы не необходимость; крайности у меня постоянной нет, но на переворот нужно — больше ничего. Пожалуйста, если можно.

— А как вы после отопретесь?

Алексей Сергеич смешался.

— Отпереться мне нельзя: я благородный человек; а если умру, жена подпишется ко всему поручительницей. Я вот как хочу делать.

— Когда же я имение получу?

— По совершении купчей.

— Когда же купчую совершим мы?

— Это от вас зависит: когда собьетесь с деньгами, тотчас и совершим.

— Ну, вот видите, это долго.

— Да что же вас затрудняет?

— Со мной не бывало никогда этакого дела: деньги отдать, а имение не получить; дождайся, когда...

— Вы отдадите только задаток.

— Все равно — деньги-с.

— Деньги деньгам рознь: это — небольшие деньги.

— Вам сколько надобно?

— Да хоть пятьсот рублей.

— Вот сколько.

— Ну, а сколько же вы можете?

— Сто рублей, пожалуй.

— Как же это сто?

— Ну, двести.

— Что двести! я лучше другому продам.

Степан Гарасимыч думал: купить ему очень хотелось, а задатку было жаль, да и сомневался, чтоб Ухмырев как-нибудь не обманул, воспользуясь его неопытностью.

— Согласитесь хоть на четыреста рублей; мне, главное, деньги теперь нужны. Оно можно бы... да только, чтобы верно было.

— Я напишу какое хотите условие... Неустойка вам нужна? Во сколько угодно, хоть в десять тысяч серебром, — проговорил Алексей Сергеич и начал было писать.

— Нет-с, погодите: я лучше в город съезжу: мне там напишут.

— Хорошо, мне все равно: дайте только задаток, я дам в нем пока расписку.

— А как вы эти деньги теперь же издержите? — возразил Степочка.

Ухмырев с удивлением посмотрел на него.

— Как издержу?

— Да кабы вы не издержали; а то тут у вас и не будет, чем мне отдать назад.

→ Зачем же мне отдавать назад? Вы имение получите.

— Где еще имение! когда я его получу! мне бы вот теперь нужны руки, надо лесу запасти на постройку.

— Так вы рассчитайтесь со мной хоть сейчас же; а завтра совершим крепость.

— Денег нет столько.

— Когда же они у вас будут?

— По весне.

— Ну что ж, это ничего.

— Какое ничего-с? У меня на заделье ходить некому; поэтому я за вашим Марковым и тянусь — вот что-с!

— Пожалуй, я допущу вас во владение; поступайте, как знаете.

— Это хорошо, а то и маменька рассердится, — скажет купил имение, а в чужих руках.

— Извольте, — проговорил с досадой Ухмырев и дал Степочке приказ к марковскому старосте, чтобы он явился к Степану Гарасимычу и исполнял все его приказания, так как деревня уже продана ему.

К обеду Вера действительно вышла. Степочка, увидев ее, сначала покраснел до самых ушей, а потом совершенно растаял. Она, видимо, употребляла над собой все усилия, чтобы быть с ним ласковой.

После отъезда гостя Алексей Сергеич вошел в гостиную, где сидела Авдотья Егоровна, и сел насупившись, что он всегда делал пред каждым щекотливым объяснением с женою.

— Я маленькую аферу сейчас сделал с этим баринном, — начал он.

— Что такое? — спросила жена.

— Марково продал ему.

Авдотья Егоровна побледнела.

— Для чего? — спросила она.

— Деньги нужны, да и деревня бесполезна.

— Что это, друг мой! это лучшая наша деревня!

— Вовсе не лучшая: народ пребалованный и весь задельный; а нам деньги нужны. Я ее продам, так буду спокоен, оттого что буду чист со всеми долгами.

— Будто уж и со всеми.

— Пора мне знать счет-то! а лгуном я еще никогда не бывал.

— И Верочке деньги ты возвратишь?

— Я про Верочкины деньги и не говорю: это домашний долг, мы будем обеспечивать ее всем нашим состоянием.

— Но если она замуж выйдет, ей сейчас будут нужны деньги.

Алексей Сергеич вспыхнул.

— Прошу вас не беспокоиться — это мое дело; вам бы только колоть меня этим не следовало.

— Чем же я тебя уколола?

— Да-с, ничего: я знал прежде, каковы эти деньги будут для меня, я, как огня, их боялся; вы же согласились и настояли, а теперь...

— Ах, Alexis, как ты несправедлив: она отдала тебе последнее, а ты сердишься!

— С чего же вы взяли, что я сержусь? Напротив, я всю жизнь останусь благодарен ей; но дайте мне перевернуться. Я целые ночи, сударыня, не сплю! Вам стыдно бы было мне не верить... бог с вами! мне теперь осталось одно: молить бога, чтобы прибрал меня скорее... оставайтесь, будете счастливы без меня!

— Ох! — вскрикнула Авдотья Егоровна и начала рыдать.

— Одна история, — проговорил Ухмырев и, махнув рукою, ушел.

Затем последовали обычные сцены: Авдотья Егоровна проплакалась, позвала к себе мужа, приласкалась к нему; а он с своей стороны доказал ей пунктуально, что продает деревню так выгодно, как только можно желать.

Степочка от Ухмырева прѣехал прямо в Марково, где обошел сначала все крестьянские дворы, подробно расспросил хозяев о хлебе, о скотине, о покосах и лесных дачах, а потом собрал на сходку мир и, объявив всем мужикам, что он сторговал деревню, прочитал им приказ Алексея Сергеича.

— Вы рады ли, что я вас покупаю? — спросил он в заключение.

У всех почти мужиков вытянулись лица.

— Нам, батюшка, все равно, кому ни служить, — отвечали некоторые из них неторопливо.

— Что, ребята, надобно говорить правду, — произнес рыжий мужик, — на один конец лучше. За Алексеем Сергеичем жить, так порядку не видать: то льготы, то вдруг требуют.

— Небось с тебя лишнее взяли! Ах, брат Михайло, не то бы тебе следовало баять: тебе бы за господ пуще всех надобно денно и ночью молить бога, а не то что говорить этикие пустые слова, — сказал седой старик.

— Я не про себя и говорю, седая борода, а про нового барина: у него, известно, порядок будет лучше, — возразил Михайло.

— Свой-то бы порядок лучше наблюдал; немало мы с тобой на миру-то повозились, а господа-то давно уж от тебя отступились, — возразил ему тот же старик.

— Отступились! много больно знаешь! на печи лежать да по миру ходить — известный у вас промысел-то у всех один.

— Нет, Михайлушка, я по миру не хожу, слава богу: детки кормят.

— Ты, Михайло, вотчину не клепи, — вмешался русский мужик, с вострой бородой, — у нас, кроме тебя, никто этим не занимается.

— Я у вас порядок заведу, — произнес Степочка, — такой же вот, как и у нас в имении... знаете, я думаю?

— Как не знать-с! дело суседнее, — отвечал опять как-то уклончиво тот же русский мужик.

— Извини, сударь ты мой, меня, хочу и тебя спросить, — начал прежний старик, — больно мне жаль старых-то господ! Пошто это Алексей Сергеич продает нас? барин добрый, барыня тоже: неужели им нужда какая пришла?

— Прожились в городе, балов очень много давали... я так вот не люблю; в именины разве кого позову, а больше никогда.

Поговорив таким образом с мужиками, Степочка уехал домой. Он очень доволен был покупкой. Мужики хорошие и зажиточные; один только Михайло... «Ну, да я его в пастухи возьму», — рассуждал он сам с собой и на другой день отправился в город. Он имел там постоянного ходатая в особе некоего Ивана Ефимыча Феофилактова, бывшего письмоводителя опеки, которого, по всем правам, можно было назвать попечителем всех уездных вдов и сирот: он писал им отчеты, хлопотал о метрических свидетельствах, управлял имениями, скупал у них на чистые деньги исковые делишки, приискивал даже женихов — одним словом, был угода на все руки. Услуживая таким образом, он, конечно, не забывал и самого себя: в настоящее время имел уже свою деревню и каменный домишко в городе; обращения он был очень солидного; он не любил говорить пустяков.

Выслушав, в чем дело, Иван Ефимыч начал тереть лоб, как бы припоминая кое-что.

— Вам надобно условие заключить? — сказал он.

— Да-с, условие.

— С неустойкой.

— С неустойкой — он сам говорил — в десять тысяч серебром.

— Хм! какой добрый!

— Я боюсь, не опасно ли.

— Какое опасно! дело верное, хорошее.

— Как надобно сделать-то?

— Надобно на гербовой да и у маклера засвидетельствовать, а то иначе будет недействительно, — отвечал Феофилакт. — Черновую я вам напишу, — прибавил он и разом сочинил условие, в таком духе:

«Я, Ухмырев, запродаю, на словах, Сальникову имение, состоящее К... уезда, в деревне Маркове, по последней

ревизии сто душ, за десять тысяч рублей серебром, с тем, чтобы в числе оных денег заключался долг Опекунскому совету и все казенные недоимки; мне же, Ухмыреву, получить, что будет следовать в остатке по расчету. В задаток я получил пятьсот рублей серебром. Купчую крепость¹ обязуюсь совершить тотчас же по получении полного расчета; в случае же отказа с моей стороны или каких-либо других препятствий, обязываю я себя неустойкой в десять тысяч рублей серебром, которые и должен я, продащик, уплатить покупателю тотчас вместе с задатком; я же, Сальников, обязуюсь сделать Ухмыреву расчет по продаже хлеба».

К этому условию Алексей Сергеич, почти не читавши, подписался, получил пятьсот рублей и был очень доволен.

VI

Наступил май месяц. Аграфена Кондратьевна уехала на богомолье. Степан Гарасимыч все хлопотал с продажей хлеба и сбывал его не вдруг, а с выдержкой, и поэтому довольно выгодно.

— Ну, барин, — говорили ему купцы, издавна закупавшие в тех местах хлеб и торговавшие с ним в продолжение трех суток, — как ты деньгу любишь! Маменька твоя была туга, а ты еще чище ее.

Вера Павловна начала чувствовать постоянную боль в левом грудном боку, не сильно, но как-то болезненно кашляла, и, наконец, с каждым днем худела и слабела, но, несмотря на это, сама она как бы решительно не признавала своей болезни и упорно не хотела лечиться, говоря, что она здорова и ничего особенного не чувствует.

Наколотив денег, Степан Гарасимыч начал требовать окончательной продажи имения. Алексей Сергеич был душевно рад с своей стороны, и оба они отправились в город, чтобы посоветоваться насчет купчей и обратились, по желанию Сальникова, к покровителю вдов и сирот Ивану Ефимычу, который, к удивлению купца и к ужасу продавца, объявил, что купчей крепости совер-

¹ Купчая крепость — документ на покупку недвижимого имущества.

шить нельзя, потому что на именье, по частной претензии, в шесть тысяч рублей серебром, наложено запрещение, и в доказательство своих слов предъявил запретительную статью. Алексей Сергеич схватился за голову. Об этом долге он совсем и забыл.

— Вот тебе на!.. — едва имел он силы выговорить.

— Вам надобно прежде претензию очистить, — произнес Иван Ефимыч спокойным голосом.

— Не могу, хоть повесьте, — не могу; лучше условие уничтожить. Что делать! ошибся, — без всякого умысла ошибся... — говорил совершенно растерявшийся Ухмырев.

— А деньги мои как же? — спросил Степочка.

— Деньги я вам отдам.

— Теперь-с?

— Нет, не то что теперь: теперь куда я, пожалуй, вам дам вексель; а в удостоверение, пускай марковцы ходят к вам на работу; другого ничего не могу придумать.

— Этого нельзя-с; вон и Иван Ефимыч то же скажет.

— Нет-с, я ничего не скажу: дело ваше, — отвечал тот и вместе с тем покачал отрицательно Степану Гарасимычу головой таким образом, что Ухмырев не заметил этого.

— Так что же мне-то делать?

— Я не знаю. Иван Ефимыч! что теперь делать Алексею Сергеичу?

— Как это решить вдруг! надобно подумать хорошенько: дело запутанное... — отвечал прежним бесстрастным тоном письмоводитель.

— Меня-то, по крайней мере, Иван Ефимыч, чем-нибудь решите? — произнес Ухмырев умоляющим тоном.

— Вас чем решить? именье продавать нельзя.

— А условие?

— Это в воле Степана Гарасимыча: можно его изорвать, а можно и в ход пустить.

— Как это в ход пустить! Господа, помилуйте! что вы хотите со мной сделать! Степан Гарасимыч, прошу вас, объясните мне, что вы намерены делать?

— Я вам после скажу-с.

— Мне дожидаться некогда: у меня по горло дела в деревне; да и я не могу здесь быть: мне тошно, глаза бы мои не видели этого города.

— Вам можно ехать: за вами теперь никакого нет дела, — сказал письмоводитель.

— Но я должен ехать с чем-нибудь. Это не десять рублей, Иван Ефимыч! Побойтесь вы бога. Я всю ночь не усну и, может быть, не перенесу этого.

— Да от чего тут так беспокоиться! Степан Гарасимыч, полагаю, не обидит вас — не сегодня знаком — как-нибудь сделаетесь.

— Степан Гарасимыч! скажите мне что-нибудь одно, — произнес Ухмырев, обращаясь к Степочке, который ходил взад и вперед по комнате.

— Я завтра вам скажу-с, право, — отвечал тот.

— Что это такое завтра! тешиться, что ли, вам надо мной, стариком, хочется? С меня взять нечего: я банкрот! Коли так, так вы ни именья, ни задатку не получите!

Проговоря это, Алексей Сергеич ушел и тотчас же уехал в деревню.

Приехав, он ни слова не сказал Авдотье Егоровне, но притворился больным, ушел в свой кабинет и никому не велел к себе входить.

Последние слова Ухмырева Степочку обеспокоили.

— Иван Ефимыч, каково он меня надул! а ты говорил: дело верное, — сказал он, оставшись с своим поверенным.

— Да, есть немножко, опростоволосились, — отвечал тот.

— Теперь с него и денег-то не воротишь?

— Какие у него деньги! сами слышали, что он сказал.

— А зачем же ты меня в это ввел? Что мне теперь делать?

Иван Ефимыч размышлял.

— Не знаю, как вам помочь; хочется бы, а как возьмешься?

— Обхлопочи, пожалуйста; я тебя поблагодарю.

— Что мне ваша благодарность! я и так для вашего семейства готов служить... Уступите мне это дело?..

— Как так?

— Так: передайте его мне совсем?

— А я-то при чем буду?

— Я вам двести серебром заплачу.

— Ах, ты, чудак эдакой! Я ему пятьсот дал...

— Да хоть бы тысячу дали: это ничего не значит; я и это-то на страх даю.

— Полно надувать! возьмешь ты на страх! только научить меня не хочешь, а сам знаешь.

— Ничего я больше не знаю; как хотите, — отвечал тот и взялся за шапку, — подумайте, — прибавил он.

— Нечего мне думать! ты хитрить хочешь.

— Нахитришь у вас! прощайте!

Оставшись один, Степан Гарасимыч начал внимательно читать условие.

— Экой штукарь, — проговорил он, — тут написано, что мне надобно получить десять тысяч серебром, а он дает двести! Я тут другое сделаю; мне деньги что? как бы он отдал за меня Веру Павловну, так я бы ему все простил.

Последнюю мысль Степан Гарасимыч привел в тот же день в исполнение и написал Алексею Сергеичу письмо:

«Милостивый государь,
Алексей Сергеич!

Вы давеча на меня осердились, но я обидеть вас не хотел, и очень дорожу вашим расположением, и осмеливаюсь еще раз просить руки Веры Павловны, которая бы меня очень этим осчастливила. Вы мне теперь должны, но я бы этих денег не стал требовать за ваше одолжение. Маменька теперь положилась во всем на меня и сказала мне, чтобы я женился на ком хочу».

Письмо это обрадовало и взволновало Ухмырева. Отлично, если бы так все устроилось; но что скажет Вера и как ей объяснить о том; от болезни характер ее решительно изменился: она сделалась так раздражительна, вспыльчива, что, не говоря уже об Авдотье Егоровне, даже сам Алексей Сергеич трусил ее. Однако, со свойственной ему тонкостью, он опять придумал уведомить племянницу о новом предложении Сальникова письмом, в котором, между прочим, изложил ей, и изложил с большим чувством, затруднительность своих обстоятельств.

Отправив это письмо, старик решительно замер в своем кабинетце от страха и беспокойства и стал прислушиваться к тому, что происходило в доме: он очень хорошо услышал, что невдолге Авдотью Егоровну звали к Вере. У него окончательно захватило дыхание. «Ну, будет альярма», — подумал он, и вдруг к нему в кабинет вошла тихими шагами Авдотья Егоровна. Алексей Сергеич не смел ни взглянуть, ни спросить ее.

— Вера просит тебя к себе, — проговорила та.

— Что, матушка?.. что она? что с ней? — пробормотал Алексей Сергеич.

— Она хочет о чем-то переговорить с тобой... Она говорит, что Сальников опять к ней сватается, — отвечала хотя и недоумевающим, но довольно спокойным тоном Авдотья Егоровна.

— Да, сватается опять... Поди ж ты!.. Что с ним сделаешь! — отвечал, несколько поободрившись, Ухмырев. — Я пойду?

— Пойди.

Алексей Сергеич и Авдотья Егоровна вошли к Вере. Она сидела в кресле, обложенная подушками.

— Что у вас, дядя, с Сальниковым вышло? — спросила она.

Алексей Сергеич вообще, как мы знаем, не отличался даром слова, но тут решился не оплошать и пробормотал, как индийский петух:

— Тут вышло, изволишь видеть, вот что: я занял у него... Он говорит: давайте условие на продажу имения... Так? Я, что ж? думаю... даю... Так? хлоп! продавать нельзя, а между тем неустойка в десять тысяч... У меня десяти тысяч нет. Значит, в яму: ступай, старик, делать нечего...

Вера из слов Алексея Сергеича поняла только одно, что ему совсем пришлось плохо.

— Зачем же вам, дядя, в яму; лучше я пойду за него замуж, — сказала она с улыбкой.

Авдотья Егоровна взглянула на Веру и на мужа.

— Благодарю вас... и больше того ничего не могу сказать, как благодарить вас, — пробормотал тот снова, между тем как по щекам его текли уже обильные слезы.

— Как же, Вера, Шамилов? — спросила, потупляя глаза, Авдотья Егоровна, в первый раз еще произнесшая при племяннице это имя.

Алексея Сергеича подернуло.

— Шамилову, та tante, я уже отказала, я писала ему об этом и еще напишу, — отвечала Вера, повидимому, совершенно спокойно, и только при этом болезненный ее румянец на щеках как-то еще больше разыгрался, — а вы, дядя, ответьте Сальникову, что я согласна идти за него... только нельзя ли как-нибудь поскорей устроить свадьбу, а то, пожалуй, чего доброго... — Последней мысли Вера не договорила.

Алексей Сергеич и Авдотья Егоровна постояли еще некоторое время перед племянницей в каком-то странном положении.

— Подите, дядя, напишите к нему сейчас же! — повторила Вера.

— Хорошо-с! благодарю... — болтнул опять Алексей Сергеич и, сопровождаемый Авдотьей Егоровной, вышел.

— Я напишу? — отнесся он к жене, как будто желая знать ее мнение.

— погоди, Alexis, разве ты не видишь, в каком она положении.

— Чего годить-то? Она сама этого желает.

— Друг мой, как это ты ничего не видишь! — произнесла Авдотья Егоровна и начала потихоньку плакать; но Алексей Сергеич в этот раз не обратил, однако, на это внимания; напротив того: сам еще надулся и лег на диван. Тут уж не выдержала Авдотья Егоровна и подошла к нему.

— Ну, напиши!.. конечно, что уж теперь делать! — проговорила она, беря и целуя у мужа руку.

— Написать надо! — отвечал Алексей Сергеич, совсем уже довольный и успокоившийся.

Обманутая в любви своей к Шамилову, Вера еще прежде того решилась, если только потребуют обстоятельства, принести себя в жертву для спасения родных своих; но, когда пришла минута исполнить это, душевные и телесные силы покинули ее. Она без ужаса не могла представить себе своего нового жениха. В ночи с ней сделался значительный припадок кровохарканья, затем лихорадка и бред. Авдотья Егоровна потихоньку от мужа и от больной послала за весельчаком доктором, умоляя его приехать и описывая подробно болезнь Веры.

Степан Гарасимыч был на постройках и сидел на бревне, толкуя с подрядчиком, когда ему подали письмо Ухмырева, которое прочитав, он побагровел и засмеялся.

— Мелентий! стройте скорее: я женюсь скоро! — открылся он подрядчику.

— Добрый час! за нами дело не станет, — отвечал тот.

— Славно, право, отлично... тра-тра-тра... та-та, тра-тра-тра... та-та... — начал выделывать языком Степочка и вприскокку пустился в горницу.

— Аксинья! — закричал он, — Аркашка, позови мать, живей! Поди сюда! — отнесся он к входящей Аксинье. — Слово дала. Что, не веришь? Ты, смотри, служи молодой барыне хорошенько.

— Да чья-то такая, батюшка?

— Чья такая? Ах, ты, дура! Вера Павловна, старая зазноба!.. Тра-тра-тра, та-та, тра-тра-тра, та-та... Что ты ничего не говоришь?

— Ничего, батюшка, я перекрестилась только, — отвечала, крестясь, Аксинья.

— Ты рада?

— Как не рада-с: мы, признаться сказать, очень боялись, чтобы вы на Моросенковой барышне не женились: такое, говорят, зелье, что не приведи господи!

— Шиш Моросенке; если я ее где-нибудь встречу, так в глаза разругаю; а это барышня — чудо!

— Маменьке-то когда напишете?

— Я бы сейчас написал, да где она? Бог знает! маменька ничего: она дала мне волю.

— Конечно-с... только... вот что, Степан Гарасимыч, мы люди глупые, учить нам вас не приходится, только вот в народе слух идет: болтают тоже всякое: говорят, эта барышня не так здорова; а у нас, дураков, есть наша мужицкая пословица: «Брат любит сестру богатую, а муж — жену здоровую».

— Это пустяки, Аксинья; я ее вылечу: я тысячи рублей не пожалею, а вылечу. Им теперь лекарства не на что купить: заневоле захвораешь; а у меня тут, слава богу, на пятерых достанет. Ах, я дурак набитый, какую я глупость сделал... у разносчика ничего не купил! уехал он?

— Только сейчас съехал; у нас, в деревне, кормил.

— Аркашка! возьми сейчас лошадь и скачи верхом за купцом... вороти его, скажи, что на пять тысяч у него куплю. Что ж ты нейдешь?

— Ступай, чертенок эдакой! — проговорила Аксинья, толкая сына в спину.

— Обуться еще надо! — возразил было Аркашка.

— А без обуви не съездишь? — крикнул Степан Гарасимыч и погрозил ему.

Аркашка убежал.

— Я невесте куплю шелковых материй на десять платьев: людям ихним тоже куплю по платку... знай наших!

— Насчет людей, Степан Гарасимыч, лучше выдайте деньгами: гораздо приятнее им будет, — заметила Аксинья.

— Деньги само собой, а платки само собой; я и тебе куплю на сарафан. Ты, помнишь, все говорила со мной о ней: я тебе никогда этого не забуду.

— Я всегда, батюшка, рада вам служить. Слава богу, от маменьки вашей худого не видала, а от вас и подавно.

— А Кузьме так ничего не дам: он в городе жил, так только грубил мне.

Аксинья немного покраснела. Живя в городе, она очень подружилась с Кузьмой и теперь все на него делала: мыла, ушивала и даже весь его скарб держала в своем чулане.

— Он это делал, Степан Гарасимыч, не от чего другого, а по глупости.

— Я ничего, бог с ним! ему кафтан тоже непременно сделаю. Аркашку наряжу казачком. У самого меня платье плохо. Накуплю у него сукна и завтра же поеду в город и велю себе сшить. Да уж прежнему шведу не отдам: в тот раз сшил фрак — надеть теперь нельзя. Как маменька прежде меня одевала! а теперь уж, извините, буду франтить.

Разносчик воротился. Читатель, может быть, даже усомнится, если я скажу, что Степан Гарасимыч накупил у него целую гору: сукна для себя и для людей, ситцев, платков, шелковых материй, даже сургучу и бумаги, — одним словом, на триста серебром. Торговался он, сверж обыкновения, очень мало и только некоторую тень расчетливости выразил в том, что заплатил купцу старенькими бумажками. Целую почти штуку ситца он предназначил на обивку старой мебели и все раскладывал ее то на диване, то на стульях. Сукно он вешал на себя и осматривал, хорошо ли оно будет. О выезде Степочка тоже обеспокоился и велел Кузьме смазать все хомуты дегтем, а лошадей вычистить и заплести им гривы.

— Не отчистишь их, — возразил Кузьма.

— Не рассуждай, а чисти, — перебил барин.

Аксинья, получившая от барина ситцу на два сарафана, возбудила страшную зависть в прочих дворовых бабах, которые все сбегались к ней в избу и подняли страшную тревогу. Она с своей стороны сначала отбранивалась, потом разревелась и отправилась к барину с жалобой.

— Возьмите, батюшка, от меня сарафаны... вся ваша воля! бабицы мне проходу не дают за них, — произнесла она, вытирая рукавом слезы.

Степан Гарасимыч, преисполненный счастья, был в таком миротворном состоянии духа, что не только не рассердился на бабиц, но еще успокоил их, обещав завтра же купить всем по сарафану.

На другой день, часов в двенадцать, Степан Гарасимыч был уже в деревне Ухмыревых. Вошел он робко; его встретил Алексей Сергеич, но не обнял, а проводил в свой кабинет.

— У меня все больны, — начал он.

— И Вера Павловна?

— Да, ей хуже сегодня; жена тоже заболела.

Алексей Сергеич был расстроен происшедшей поутру сценой. Приглашенный Авдотьей Егоровной весельчак доктор, несмотря на то, что последнее время смеялся и бранил Ухмыревых в каждом доме, прочитав письмо, приехал, но обнаружил при этом случае досаду за доставленное ему беспокойство.

— Что у вас там такое? — сказал он встретившей его Авдотье Егоровне.

— Верочка больна, — отвечала та и начала исчислять все ее припадки.

— Это уж знаю... где она? Я по вашим словам не могу лечить.

Авдотья Егоровна провела его к племяннице. Вера, увидев доктора, рассердилась.

— Зачем это, та tante, я здорова, — отнеслась она к тетке.

Доктор одною рукою взял ее пульс, а другую приложил ко лбу, по которому крупными каплями выступал пот... Вера с досадою оттолкнула руку, которую доктор обтер платком и ушел. Авдотья Егоровна последовала за ним.

— Что такое с ней? — спросила она.

— Чахотка, — отвечал доктор равнодушно.

— Боже мой! — проговорила Авдотья Егоровна. — Но, может быть, это не опасно — пройдет.

— Как не пройти! Вы точно маленькая спрашиваете: как будто сами не знаете, проходит или нет чахотка; покуда никто еще не выздоравливал.

— Но можно поддержать?

— По-вашему, все можно, особенно, когда изнурительная лихорадка уже началась; готовьтесь лучше к другому.

— Доктор! умоляю вас, спасите ее, — произнесла Авдотья Егоровна и хотела было стать на колени.

— Как вы смешны! Бог, что ли, я? Разве я могу оживать?.. Дайте бумаги!

Авдотья Егоровна едва имела силы подать приготовленную уже бумагу и ушла к себе.

Доктор написал рецепт и вышел в залу, где встретил Алексея Сергеича, который ему сухо поклонился. Ухмырев очень рассердился на жену, что та, не посоветовавшись, пригласила этого человека, которого он поклялся не пускать к себе в дом.

— Рецепт в гостиной на столе... велите заложить мне лошадей, — проговорил скороговоркою врач.

— Лошади готовы-с, у крыльца, — отвечал Ухмырев.

Доктор пошел. Алексей Сергеич нагнал его в лакейской и подал ему за визит десять рублей серебром, которые тот положил в карман и уехал.

— Вот оно что! я ему последнее отдаю, а он и усом не ведет; а все женщины перебаловали! — пробормотал Ухмырев сам с собой и пошел к жене, чтобы выразить ей свое неудовольствие, но застал Авдотью Егоровну в ужасном положении и потому тотчас же изменил тон.

— Что вы, Eudoxie? — спросил он.

— Alexis... Верочка... — простонала та.

— Что такое?

— У ней чахотка, в последнем периоде; он не берется лечить.

Ухмырев побледнел.

— Это как? Врет он!

— Нет... я теперь сама начала понимать ее болезнь; у ней это наследственное; мать ее умерла от этой же ужасной болезни...

Алексей Сергеич вдруг начал делать из лица гримасы и затем заплакал.

— Может быть, ничего, бог милостив, пройдет! вы себя-то не тревожьте... Я Сальникову откажу — не до женихов теперь...

Мы уже видели, как Алексей Сергеич принял Степана Гарасимыча, но тот, на первых порах, конечно, не уразумел и прямо начал:

— Я могу видеть Веру Павловну?

— Сегодня — не знаю-с; вы извините: ей гораздо хуже. Я лучше вас уведомяю письмом.

— Что, Алексей Сергеич, вы все на письмах? вы позвольте мне: я желаю от них самих слышать.

— Степан Гарасимыч! а если она умирает?

— Какое же умирает! вы вчера сами ко мне писали.

— Вчера она была здорова.

Степочка рассердился. Вошла горничная Вера.

— Барышня просит к себе Степана Гарасимыча.

Ухмырев покраснел. Жених расцвел и пошел за горничной. Вера, увидя Степочку, слегка вздрогнула.

— Как я несчастлив, что вы больны, — начал тот, смотря ей в лицо.

— Да, немного, — отвечала Вера и потом, помолчав, спросила: — Вам должен дядя?

— Нет, так, пустяки: я сейчас изорву; я нарочно и бумаги эти привез, чтобы при вас же изорвать, — проговорил Степочка и, вынув из кармана условие, изорвал его на мелкие куски. — Если теперь вам или Алексею Сергеичу нужны деньги, я с большим удовольствием дам... только вы выздоравливайте.

— А если я умру?

— Как возможно-с! мы вас вылечим: я отличных докторов сюда выпишу... Вы, может быть, слабы-с, — произнес Степочка, заметя, что Вера более и более бледнела и начала опускать голову.

— Да, выйдите, — проговорила она.

Степан Гарасимыч выбежал и во все горло закричал:

— Вере Павловне дурно.

Вбежали Авдотья Егоровна и горничная. С больной повторился припадок кровохаркания.

Степан Гарасимыч перепугался: он суетился, беспрестанно подходил к затворенной двери и всех спрашивал, лучше ли, а потом, посоветовавшись с Алексеем Сергеичем, тою же ночью ускакал в губернский город за искуснейшим в целой губернии врачом, которого и привез через три дня; но помощь того оказалась бесполезной.

Через час после его приезда Вера скончалась.

В продолжение этих трех дней Вера была почти все в памяти, писала долго, просила послать за уланом Карелиным, что-то говорила с ним по секрету, которого тот никому не открыл; потом беспрестанно спрашивала, где

Степан Гарасимыч и отчего он не едет. Дядю и тетку она благодарила за их благодеяния и, наконец, после нового припадка ослабла чрезвычайно и просила послать за священником: исповедалась и причастилась. Услышав, что приехал Степан Гарасимыч, она велела его позвать к себе.

— Не оставьте дядю и тетку, — проговорила она, и это были последние ее слова.

На похоронах было много слез, и слез неподдельных. Авдотью Егоровну, как только скончалась Вера, увезли, почти без памяти, к одному соседу. Алексей Сергеич рыдал, как маленький ребенок; плакала и вся их дворня; горничная ее, сидя в людской и проливая слезы, все приговаривала: «Не избрала ты меня, не изневолила; точно маменьке родной, я тебе служила».

Степан Гарасимыч не отходил от покойницы и все прощался с ней, целуя ее холодные руки и лицо. Похоронами распоряжался Карелин.

VII

Через два года после смерти Веры дом Алексея Сергеича, состоящий во владении купца, нанял новоприезжий в город помещик Петр Александрыч Шамилов, который был уже женат на прежней своей неприятельнице, Катерине Петровне. Она год тому назад овдовела. Весь город с нетерпением ожидал увидеть новобрачных: молодая, говорили, очень постарела и подурнела против прежнего, но, несмотря на то, вышла за Шамилова по любви, а приехав, молодые сделали всем визиты; им отплатили, и, между прочими, приехал Карелин, вышедший уже в отставку и служивший в К. по выборам. Шамилов сам гулял, а Катерина Петровна недавно встала и потому не принимала, но, услышав имя старого своего знакомого, велела просить. Карелин вошел: некогда ловкий и стройный, улан в настоящее время значительно раздобрел, но был еще молодец.

— Bonjour, monsieur Карелин! Как я рада вас видеть, — сказала хозяйка, встречая его.

— Здравствуйте, Катерина Петровна, — отвечал тот, целуя у ней руки.

Оба сели.

— Как мы с вами давно не видались. Я в это время успела овдоветь и опять замуж выйти.

— Знаю-с, а Петр Александрыч где?

— Он гуляет: ему велено ходить пешком... А вы все холостяк?

— Что делать! ваш муж перебивает у меня невест: имел виды на покойную Веру Павловну — он отбил, хотел было вам сделать предложение — и тут не успел.

— Вы все такой же насмешник, как и прежде был... Вы служите здесь?

— Служу.

— Я моему мужу беспрестанно говорю, чтобы он служил, — не могу убедить: воображает себя ученым человеком, а сам решительно ничего не делает; в один день схватится за десять книг и ни одной не прочитает... просто выводит меня из терпенья. Я бы даже желала, чтобы он хоть в карты начал играть, — и того не умеет... А вы играете?

— Немного.

— Я тоже нынче, как старуха, играю... Мы будем с вами играть. Я вас буду считать своим постоянным партнером, хоть и не следовало бы... Я на вас очень сердита.

— За что?

— За многое; вы сами должны знать.

— На меня сердитесь, а сами вышли замуж.

— Да вы знаете ли, как я вышла замуж? Сама даже не могу объяснить, как это сделалось. Мысль о нем никогда мне не приходила в голову... Я встретила его случайно в Петербурге на улице: он узнал меня, начал потом ходить ко мне; я была, в моем положении, ему рада... а тут судьба.

Вошел Шамилов и обнял Карелина. Оба они посмотрели при этом случае друг на друга многозначительно.

— Вот мы с вами опять сошлись, — начал Шамилов.

— Да, расстались вы со мной женихом, а теперь — женатый муж, — отвечал Карелин.

Шамилов горько улыбнулся.

— Ах, monsieur Карелин, я вам расскажу, пресмешной анекдот про Пьера и его прежнюю невесту, — заговорила Катерина Петровна.

Петр Александрыч взглянул на нее с неудовольствием, но она продолжала:

— Я еще здесь знала, как он мало был занят ею; но, женившись на мне, он вздумал меня уверять, что он

виноват против нее, потому что она его истинно любила, а он не оценил ее. Не правда ли, как это любезно в отношении меня?.. И вдруг — это было при мне — один наш знакомый в Петербурге рассказал, что она была помолвлена за Сальникова. Представьте себе: он вышел из себя, начал проклинать бедных женщин и говорить, что после этого он не поверит ни одной из них, и даже мне. Сами можете судить, каково мне было слушать подобные вещи? не шутя вам говорю: мое только терпенье надобно иметь, чтобы любить этого человека, — заключила молодая и, конечно, желая смягчить едкость своей насмешки, поцеловала мужа в голову; но тот ни на слова, ни на ласку ее не отвечал ни малейшим движением. Карелин тоже не почтил этот рассказ большим вниманием.

— А что, Петр Александрыч, можно у вас в кабинете покурить? — отнесся он к Шамилову.

— Пойдемте, — отвечал Шамилов, вставая.

— Велите сюда, Пьер, подать трубок: я очень люблю запах табаку, — проговорила Катерина Петровна.

— Нет, позвольте в кабинете: мне нужно сказать Петру Александрычу по секрету, — возразил Карелин.

— У моего мужа нет секретов от меня.

— Это мой секрет-с.

— Отчего же вы не хотите сказать мне?

— Я вам не верю.

— Ах вы, неблагодарный... Пьер мне скажет.

— Очень дурно делает.

— В таком случае ступайте; вы оба мне наскучили.

Приятель ушел. Катерине Петровне очень захотелось узнать секрет Карелина: она встала, обошла кругом и приложила ухо к деревянной перегородке, отделяющей кабинет; до ее довольно тонкого слуха дошел нижеследующий разговор:

— Что вы такое хотели мне сказать? — говорил Шамилов.

— Письмо есть к вам: года два уж лежит у меня; бог вас знает, где вы пропадали все это время! Я ни от кого не мог толку добиться.

— Чье письмо?

— Сами увидите.

Следовало несколько минут молчания.

— Она сама вам его отдала? — проговорил Шамилов взволнованным голосом.

— Сама... за день перед смертью.

— Мерси, Карелин; но я не понимаю последнего ее поступка.

— Она это хотела сделать для родных: он и теперь старухе очень много помогает и даже называет тетенькой. Сам Ухмырев помер... слышали?

— Слышал... Что она вам обо мне говорила? Бога ради, не скрывайте: расскажите мне все.

— Ничего не говорила: просила только отдать письмо, когда увижусь с вами... Вы дурно поступали с ней.

Шамилов вздохнул.

— Знаю, Карелин, очень хорошо знаю: сначала меня оттолкнуло от нее мое несчастное честолюбие, а тут эта бедность: «Локоть близко, да не откусишь»; судьба моя сторожею воздаст за нее: я слишком наказан.

— А что?

— После поговорим.

Катерина Петровна очень хорошо поняла смысл всего этого разговора, и особенно ее возмутили последние слова мужа. Она хотела было тотчас же войти в кабинет; но, когда Карелин уехал, она позвала его к себе.

— Покажите мне письмо, которое отдал вам ваш друг, — начала она.

— Какое письмо? — спросил с притворным удивлением Шамилов, садясь у окна.

— Не запирайтесь: я все слышала... Понимаете ли вы, что делаете?

— Что такое я делаю?

— Ничего: вы только принимаете от того человека, который сам прежде интересовался мною, письма от ваших прежних приятельниц и потом еще говорите ему, что вы теперь наказаны — кем? позвольте вас спросить. Мною, вероятно? как это благородно и как умно. Еще вас считают умным человеком; но где же ваш ум? в чем он состоит, скажите мне, пожалуйста?.. Покажите письмо.

— Оно писано ко мне, а не к вам; я вашими переписками не интересуюсь.

— У меня не было и нет ни с кем переписки... Я играть вам собою, Петр Александрыч, не позволю... Мы ошиблись, мы не поняли друг друга...

Шамилов молчал.

— Отдайте мне письмо или сейчас же поезжайте, куда хотите, — повторила Катерина Петровна.

— Возьмите... Неужели вы думаете, что я привязываю к нему какой-нибудь особый интерес? — сказал с насмешкою Шамилов.

И, бросив письмо на стол, ушел.

Катерина Петровна начала его читать с замечаниями.

«Я пишу это письмо к вам последнее в жизни...»

— Печальное начало...

«Я не сержусь на вас; вы забыли ваши клятвы, забыли те отношения, которые я, безумная, считала неразрывными».

— Скажите, какая неопытная невинность!

«Передо мною теперь...»

— Скучно!.. Аннушка!..

Явилась горничная.

— Поди отдай барину это письмо и скажи, что я советую ему сделать для него медальон и хранить его на груди своей.

Горничная ушла и, воротившись, доложила барыне:

— Петр Александрыч приказали сказать, что они без вашего совета будут беречь его.

Вечером Шамилов поехал к Карелину, просидел у него до полуночи и, возвратясь домой, прочитал несколько раз письмо Веры, вздохнул и разорвал его. На другой день он целое утро просил у жены прощения.

Гораздо более постоянства в действиях своих и убеждениях обнаруживал другой жених Веры Павловны, Степан Гарасимыч. Жил он в своей усадьбе, строился, хозяйничал и был опекуном над имением Авдотьи Егоровны, которая, в последнее время, переехала в К. и поселилась в маленьком домике. Аграфена Кондратьевна еще не умерла, но была уже очень слаба, имением совсем не управляла и предоставила все сыну.

К Степochке приехал Иван Ефимыч.

— Ну, что? — спросил он.

— Кончил: долги теперь очищены, — в барышах еще; по вашему желанию, остались усадьба да двадцать душ.

— Спасибо... а себе-то взял ли что-нибудь за труды?

— Что про меня говорить! это уж зависит от вас: поблагодарите, так и хорошо, а нет, так и бог с вами.

— Не из чего, брат, благодарить, право, сам ты видишь: лучше нищему не подать.

— У вас денег много.

— Какой ловкой! Я и так много просадил денег на эти дела... Ну, да бог с ней! не чужая; я ее считаю за родную тетку; в город теперь перевез... все хворает; полечить надобно; хотелось было, чтобы с маменькой на одной квартире жили, да поди ты: сладишь с ними; я уж от своей старухи много скрываю. Ах, батюшки, и забыл совсем. Аркашка! позови приказчицу.

— Я было к вам, Степан Гарасимыч, по другому делу, — начал Иван Ефимыч.

— Погоди, братец, надобно распорядиться.

Приказчица явилась: это была Аксинья.

— Ты еще не отправила в ухмыревскую усадьбу ржи?

— Собираются, батюшка, собираются.

— Экие у вас сборы! я еще третьего дня приказал. Сегодня же отправьте да скажите, чтобы пахали хорошенько. Я сам приеду и посмотрю: если будет худо, тетеньке скажу. Вот, Иван Ефимыч, и хлеб-то свой отправляю: ни на стол, ни на посев нет. Ты видел, какой я на покойницу памятник купил славный?

— Видел: мимо провезли. Как вы изубыточились так?

— Нельзя: добрая была. Надобно же мне чем-нибудь ее помянуть; жить мне бог не привел с ней; по крайней мере, я теперь чувствую... За каким же ты ко мне делом приехал?

— Шмаков все пристаёт и о вас спрашивает.

— Плут он — вот что скажи ему от меня: обыграл в шутку в карты, а тут, через два года, требовать стал; вдруг приехал, говорит: в нужде, а не то жаловаться буду; я отступился — отдал сто целковых...

— Он к вам не затем приезжал: ладит все дочку за вас выдать.

— Шутит... я уж совсем не хочу жениться: была у меня невеста, да бог взял; у меня на руках теперь две старухи: впору и с ними хлопотать.

— Надобно же когда-нибудь жениться! а эта девица достойная: приданое у нее по наследству отличное идет; именье-то у нас в опеке было. Василий Николаич говорит: пусть, говорит, Степан Гарасимыч мне даст три тысячи рублей: я ему все это устрою.

— Да, стану я с ним связываться! как бы не так! очень мне нужно!

2 р. 25 к.

ГОСЛИТИЗДАТ
1955